



АСЯ
БОГДАНОВИЧ

ИМЯ ТВОЕ ***

18+

Ася Богданович

Имя Твоё

«Автор»

2026

Богданович А.

Имя Твоё / А. Богданович — «Автор», 2026

Все ли в этой жизни достойны любви? Наверняка, большинство сразу же ответило «да». Но что если внезапно нагрянувшие чувства совершенно никак не вписываются в военное время, где одним из влюблённых оказывается немецкий учёный, а вторым — русская пленница концлагеря? Теперь вопрос уже не кажется таким очевидным... В книге «Имя Твоё» нет романтизации, нет фантастической сказки или простого и всем известного «долго и счастливо». Но есть двойственность, муки выбора и любовь, которая, казалось бы, в таких обстоятельствах не имеет смысла.

© Богданович А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Глава 1. И река потекла вспять	7
Глава 2. Золотые врата	15
Глава 3. Дочь Иаира	22
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Ася Богданович

Имя Твоё

Предисловие

Этот роман — художественное произведение, основанное на исторических реалиях Второй мировой войны и Холокоста. Все события, персонажи и диалоги являются плодом авторского воображения, за исключением тех исторических лиц, которые упоминаются в тексте.

О главном герое

Повествование ведется от первого лица — от имени немецкого офицера Герхарда Рихтера. Это сделано намеренно: чтобы читатель мог проследить внутреннюю эволюцию человека, который был частью чудовищной машины уничтожения. Однако само по себе использование формы «я» не означает, что автор разделяет или оправдывает взгляды своего персонажа. Напротив, читательский интерес или даже мимолетное сочувствие к герою — это следствие психологической достоверности образа, а не знак авторской позиции.

Рихтер не является героем в традиционном смысле. Он — палач, осознавший свою вину, но это осознание не отменяет совершенных им преступлений. Автор не ставил своей целью вызвать у читателя прощение или оправдание. Скорее, задача заключалась в том, чтобы показать, как обычный человек, разделявший преступную идеологию, постепенно приходит к пониманию ценности человеческой жизни.

Об исторической правде

Автор полностью и безоговорочно поддерживает антифашистскую позицию и осуждает нацизм во всех его проявлениях. Преступления, совершенные нацистской Германией — Холокост, массовые казни мирного населения, концлагеря, — не имеют и не могут иметь оправдания. Суды над нацистскими преступниками в Нюрнберге, Дахау и других местах были исторически справедливы. Приговоры, вынесенные палачам и их пособникам, были заслуженными.

В романе присутствуют сцены жестокости, насилия, унижения человеческого достоинства. Эти детали не являются самоцелью и не призваны шокировать читателя. Они необходимы для сохранения художественной правды — для того, чтобы показать лагерный быт без прикрас, передать атмосферу того времени и ту степень обезчеловечивания, в которой существовали как жертвы, так и их палачи. Игнорировать эту жестокость означало бы фальсифицировать историческую реальность.

Об атрибутике

В романе используются упоминания подлинных знаков отличия, униформы и символов вермахта и СС. Это сделано исключительно с целью исторической достоверности и погружения читателя в эпоху. Автор не стремится романтизировать или героизировать эту атрибутику. Напротив, она показана в своем истинном, зловещем контексте — как часть механизма, служившего уничтожению миллионов людей.

О художественном вымысле

Роман является художественным произведением, а не историческим исследованием. В нем возможны отдельные фактические неточности, смещение временных рамок или обобщение событий. Эти отступления от исторической буквы сознательны и подчинены главной

задаче — логике развития характера героя и художественному смыслу повествования. Автор просит читателя учитывать это при восприятии текста.

Главная идея

Этот роман — о цене человеческой жизни. О том, как человек, совершивший страшные преступления, постепенно открывает для себя истину, которую система старалась в нем уничтожить: что любая жизнь — независимо от национальности, происхождения или веры — имеет абсолютную ценность. Что жестокость, даже оправданная «высшими целями» или «приказами», остается жестокостью. Что искупление возможно только через осознание своей вины и через действие — даже если это действие приходит слишком поздно, чтобы спасти самого себя, но достаточно вовремя, чтобы спасти другого.

Роман не призывает к жалости к нацистским преступникам. Он призывает задуматься о том, как легко обычный человек может стать частью чудовищной системы — и как трудно, но возможно из этой системы вырваться, заплатив за это самую высокую цену.

Автор выражает глубокое уважение всем жертвам нацизма — миллионам людей, чьи жизни были оборваны в газовых камерах, перед расстрельными рвами, в гетто и концлагерях. Их память не может быть поругана художественным вымыслом, и автор надеется, что этот текст станет не оправданием палачей, а напоминанием о том, какой ценой оплачена победа и как хрупка граница, отделяющая человека от зверя, когда рушатся законы и умолкает совесть.

Вечная память погибшим. Слава победителям!

Глава 1. И река потекла вспять

*Жизнь есть жизнь, она не стоит
ничего и стоит бесконечно много.*

Э. М. Ремарк "Триумфальная арка"

Небо казалось чёрным бархатом — таким, из которого мать сшила себе платье в моём детстве. А теперь этот бархат был прошит молниями. Или разрывами. Я уже не отличал небесного гнева от человеческого. В секунды ослепительной ясности я видел пустынное поле, а на нём — тело. Моё тело. Ненужный кусок льна, брошенный посреди мокрого от росы луга. По рукаву медленно, с чудовищным старанием, ползла струйка. Не красная. Тёмная, почти чёрная в этом свете. Я смотрел на себя как будто со стороны, с холодным любопытством. Каждая вспышка на миг делала из поля священную картину — залитый фантастическим светом луг, а в его центре будто распятый человек.

Где-то далеко, за гранью мира, глухо ухали орудия. Родная речь доносилась от леса, сливаясь в монотонное бормотание. Я запустил пальцы в мокрую траву и нащупал стебель клевера. Сжал его и вдруг почувствовал, будто в ладони забилося что-то живое: сама жизнь, пахнущая дождём, свободой и далёкими весенними ночами.

На войне к смерти привыкаешь. Но смириться с ней не можешь никогда. Удивительно: даже когда ищешь её, в последний миг осознаёшь, что умирать вовсе не хочешь.

Я зажмурился, глубоко вдохнув воздух, пропахший порохом и сырой землёй. На мгновение мне показалось, что всё происходящее — сон. Ведь не может всё оборваться вот так, посреди этого бесконечного поля.

Я открыл глаза. «Поднимусь», — сказал я себе. «Обязательно поднимусь».

Стиснув зубы, я попытался перевернуться на бок. Боль пронзила тело, и тут же кровь хлынула с новой силой. Рука скользнула по мокрой траве. Всё... Кончено.

По губам поползла странная, чужая улыбка. А внутри родилась пустота — тягучая, несущая с собой странное облегчение. Я закрыл глаза и увидел не поле, не кровь, а лунную дорожку. Странно... Как будто я уже видел её прежде...

В эту секунду чья-то твёрдая рука встряхнула меня, вырывая из накатывающей пустоты. Жгучая боль ударила с новой силой, смешавшись со свинцовой усталостью.

— Герхард?! Это ты?! Чёрт возьми... Держись! Вставай, давай! Артиллерия отработала, сейчас танки пойдут — надо уходить! — над самым ухом гремел знакомый, сорванный голос. Это был мой товарищ Вебер. Он просунул свою руку мне под мышку, накинул мою — себе на плечи и рывком поднял сначала на колени, а затем, с надрывным хрипом, вытянул на ноги. Земля накренилась и пошла ходуном. Меня затошнило, ноги не слушались, будто влитые в землю, а в руке всколыхнулась такая острая боль, что мир на миг погрузился в черноту, и в висках яростно застучало.

— Оставь... не дойду... — выдохнул я, чувствуя, как тёплая кровь проступает сквозь ткань рукава.

Раньше, слыша такое от солдат, я думал, что они просто геройствуют. Теперь, оказавшись на их месте, я с ужасом понимал: я не могу идти. Не могу сделать ни шага. И вопреки секундному порыву спасти свою жизнь, сейчас больше всего на свете хотелось рухнуть обратно на землю и больше не двигаться.

— Если упадёшь — не дотащу. Ты, наверное, в детстве одни бобы ел — вот и вымахал! Какая же ты махина... — он кряхтел, и его ноги тоже пошатывались. — Скажи честно, тебя кормили бобами, да? Какой у тебя рост?

Вебер пытался шутить, но я уже слышал, как к его голосу подбиралась паника оттого, что я почти не двигался.

— Сто девяносто один... — по-дурацки буркнул я, кривя губы в подобии улыбки.

— Хельмут! — закричал он в сторону леса, но никто не отозвался. Вряд ли кто-то услышал — танки уже начали бить, и их грохот поглотил все остальные звуки.

— Хартман сегодня свинью нашёл... Завтра жаркое будет, — он говорил сквозь прерывистые, хриплые вдохи, как будто бормотал что-то сам себе. — Главное... чтобы мы не стали этим жарким...

Он втаскивал меня вперёд, почти волоком, каждый его шаг давался с надрывным криком.

— Медсестричка... тебя подлатает... — продолжал он, не останавливаясь. — Я ей о тебе... словечко замолвлю.

— Ты о той медсестричке, которой за сорок? — я кривился от боли.

— Ох, и разборчивы же мы стали! — ответил Вебер на шутку.

— Не дойду, Вебер... Прости...

Я понял, что вот-вот отключусь. Силы, которые кончились, казалось, ещё несколько минут назад, больше не держали меня на ногах. Всему есть предел.

Но мой товарищ уже не слушал. Его сильные руки впились мне в плечи — одно из них вспыхнуло огненной болью, — и он потащил меня задом, спотыкаясь, в ближайшую ложбину. Снаряды рвались так близко, что нас засыпало землёй. Она была прохладной и тяжёлой, словно саван, убаюкивающий на вечный сон. Один Т-34 проехал в каких-то пятнадцати метрах, грохот его гусениц заглушал даже биение сердца. Оставалось только молиться, чтобы за танками не пошла пехота — она уж точно не прозевала бы двух солдат в канаве.

В последний миг вспыхнула и погасла цифра: тридцать три. Всего тридцать три... Перед глазами стало темно.

Я приходил в себя обрывками. Первым вернулось ощущение — невыносимая тяжесть век. Потом — звук: монотонное капанье воды в тишине. И лишь ценой невероятного усилия мне удалось разлепить глаза. Мир сначала был слепым белым пятном, но постепенно пелена отступила, обнажив белый потолок с трещинами и пятнами от сырости.

Я несколько минут просто лежал, облизывая пересохшие губы. Потом медленно, с опаской, повернул голову, не зная наверняка, что ещё, кроме руки, могло быть повреждено. Взгляд наткнулся на высокое окно с матовыми стёклами. За ними угадывались очертания деревьев — их ветви и молодые листья чернели на фоне серого неба.

Боль пришла ко мне второй — уже после возвращения сознания. Сначала она была тупой и далёкой, но потом вспыхнула в левой руке с такой силой, что я застонал, не в силах сдержаться. Рука лежала на маленькой подушке, туго забинтованная от пальцев до плеча. И я понял, что боль вернулась потому, что попытался ей машинально пошевелить.

Из-за ширмы доносились приглушённые женские голоса. Я замер, вслушиваясь, ловя обрывки фраз:

«...осколочное ранение...»

«...повреждены сухожилия...»

И тут — чёткое, леденящее:

«...возможно, придётся ампутировать...»

Холодный ужас сковал всё тело. Я шумно сглотнул ком в горле и зажмурился, пытаясь вытереть эти слова из сознания. Нет, подумал я с отчаянной убеждённости. Это не про меня. Не может быть.

В палату вошёл доктор — высокий немец лет шестидесяти. У него была продолговатая голова с аккуратной лысиной, глаза были слишком широко поставлены, но взгляд был при этом сосредоточенным, даже упрямым. Халат сидел на нём безупречно, ослепительно белый.

Из кармана халата он достал очки и платок, тщательно протёр стёкла и, аккуратно сложив платок, убрал его обратно. Только тогда он присел на стул у койки.

— Пришли в сознание, — произнёс он ровным, слегка растянутым голосом. У меня мелькнула мысль: он говорил так, будто сомневался, что это вообще произойдёт.

Доктор взял мою больную руку без предупреждения, его движения были резкими и точными. Когда он начал разматывать бинты, я невольно задержал дыхание от боли.

— Ранение серьёзное, — констатировал он, не глядя на меня. Всё его внимание было поглощено рукой. — Пару мелких осколков тоже достали. Вы, вероятно, их даже не почувствовали.

Я покачал головой, разглядывая шов, затянутый запёкшейся кровью. В воздухе гудел резкий запах йода. Доктор работал самостоятельно, лишь изредка бросая короткие распоряжения медсестре.

— Но рука повреждена сильно. Вы правша?

— Да, — кивнул я, сглотнув.

— Вам повезло остаться в живых, — сказал он наконец, по-прежнему не поднимая глаз.

— Рука сохранит ограниченную функциональность. Ампутация не требуется.

Он оторвался от раны и посмотрел на меня:

— Сообщите родным о вашем состоянии.

— У меня нет родных, — пробормотал я. — Жена погибла в Берлине при бомбёжке.

Доктор на мгновение прервал работу. Его взгляд стал пристальнее.

— И теперь вы ненавидите весь мир?

— Нет. Только тех, с кем воюю, — выпалил я.

— Личная боль — не индульгенция на жестокость. Это важно помнить. А ненависть к врагу — нормальная реакция солдата.

Закончив перевязку, он резким движением снял перчатки.

— Но ненавистью нужно уметь управлять. Она мешает трезво оценивать ситуацию, — добавил он, как будто диктовал учебное пособие, убирая очки в карман. — Вам теперь надо больше лежать, руку нагружать нельзя, пока я не разрешу, и не пытайтесь вставать в туалет. Сестра принесёт судно. Понятно?

— Понятно, понятно, — пробормотал я.

— Всё-то вам понятно, — сдавленно крикнул он, поднимаясь. — А стоит мне за дверь — так все уже на пороге курят.

Мысль о необходимости справлять нужду под взглядами медсестёр повергала меня в глухое, беспомощное отчаяние. Это была унижительная процедура, низводящая человека до состояния немощного младенца. Хотя я уже проходил через подобное в сорок первом, но тогда всё было иначе. Мы не были жалкими отступающими, получавшими ранения преимущественно в спину. Мы были победителями, чувствовавшими под сапогами землю, которая казалась уже принадлежащей нам...

Память, коварная и безжалостная, не вернула, а швырнула меня обратно в тот знойный июнь 1941-го. В те дни, когда мы, надраенные, пахнущие кожей и сталью, молодыми богами перешагнули черту и вступили в бескрайние, дышащие зноем просторы чужой страны.

Воздух тем летом был неумолимо сухим и пьянящим, пах полыньёю, пылью и цветущими маками. Солнце висело в блеклом небе раскалённым диском. Мы закатывали рукава из-за жары, которая не отступала даже ночью.

— Рихтер! Глянь-ка, земля-то какая! — Бремер перекрикивал мотор, держась за поручень бронетранспортёра. В его заглубелой ладони лепился ком влажной, чёрной земли. — Чистое масло! Брось семя — и прорастёт, ей-богу!

Я отвернулся к карте, не поднимая глаз:

— Отвали, Бремер. Не до твоей агрономии.

— Да ты взгляни хоть раз! — Он протянул руку, будто предлагая драгоценность. — Жирная же, а? Таким полем дома любой крестьянин гордился бы.

— У нас не экскурсия, — голос мой прозвучал недовольно. — Закрой рот и займись своим делом.

Простая, крестьянская обида мгновенно затуманила его лицо. Не говоря ни слова, он прыгнул на землю, размахнулся и с силой швырнул комок под гусеницы. Земля мягко хлопнула, расплющившись в грязное пятно.

— Ладно, — буркнул он. — Только это ж не Франция. Там, может, вино да девки. А тут земля. Настоящая.

— Поздравляю, — я наконец глянул на него. — Обнаружили почву. Доложить командованию?

— Да ты хоть капусту нормальную видел когда? — Бремер снова оживился, его лицо расплылось в простодушной ухмылке. — Голову вот такую, белую! У меня в тридцать восьмом на участке вымахала — соседи аж глазам не верили!

— Капуста, — повторил я без выражения.

— Ага! И овёс мой... — он замолк, поймав мой раздраженный взгляд. — Ладно, пойду, проверю, что там с левым бортом.

Мы долго ехали по полям, залитым равнодушным солнцем, а потом снова въезжали в сёла. Все они были на одно лицо. Деревянные, почерневшие от времени хаты с крошечными окошками, словно щёлочками, которые глядели на дорогу угрюмым, немым взором. Первое время на нас выходили посмотреть мирные жители — любопытство брало верх над страхом. Потом они начали прятаться при нашем появлении.

Женщины в выцветших платках с лицами, стёртыми в бесцветный холст. Девушки, совсем юные, с огромными тёмными глазами — они смотрели на нашу колонну с немым, застывшим вопросом. Старики, сторбленные под тяжестью прожитых лет, молча наблюдали, придерживая на ветру свои потёртые шапки.

И в тот миг, стоя на броне, под лучами чужого, неласкового солнца, я ещё не мог осознать, что принесёт с собой эта война. Мы были уверены в своей правоте. Эта слепая уверенность и была нашей самой страшной, самой коварной ошибкой.

Будучи сыном немецкого офицера, я, как ни странно, не собирался связывать жизнь с армией, но вырос в семье, где образ врага в облике «восточного большевизма» был аксиомой. И в своём ослеплении я искренне считал себя участником великой исторической миссии.

Первые недели на востоке создавали обманчивую картину. Сопrotивление Красной армии было неорганизованным, отчаянным и рваным — кто-то из наших цинично сравнил его с избиением младенцев. Они отступали, бросая целые города и сёла. Наша пропаганда торжествовала, трубя о близкой победе.

Мы не знали тогда, что это затишье — лишь предвестник бури. Что где-то в глубине этой необъятной страны, за линией горизонта, уже собираются силы для будущего возмездия. Да такого, что мы и представить себе не могли!

Те первые два месяца на Восточном фронте я служил в мотопехоте — там я по-настоящему узнал суровый быт войны. Бесконечные марши по дорогам, раскисающим от малейшего дождя. Вечно застревающая техника. Грязь, которая уже не отмывалась, а въедалась в кожу и душу. Постоянный голод, который мы глушили консервами с их металлическим привкусом. Вот из чего складывалась будничная реальность «солдата-освободителя».

Мы шли вперёд, но платой за это победное шествие были стёртые в кровь ноги, ноющие суставы и усталость, что не отпускала даже во сне.

Спустя два месяца мне доверили командовать разведывательной ротой. В тот день нашей задачей был поиск безопасного коридора на смоленском направлении. Участок казался спо-

койным: наши позиции стояли прочно, русские войска — в котле. Но партизан и разрозненных армейских групп хватало, чтобы каждое движение требовало предельной осторожности.

Мы шли почти бесшумно, растворяясь в сырой тени бесконечного леса. Каждый шаг, каждый хруст ветки заставлял сердце сжиматься. После двух часов этого напряжённого скольжения между стволов мы вышли на просёлочную дорогу. Она вилась среди берёз, и на первый взгляд казалась идеальным путём. Но солдаты, осмотрев раскисшую от подпочвенных вод колею, лишь мрачно качали головами: «Здесь не пройти. Кругом трясина. Когда основные силы подойдут — совсем в грязи увязнем».

Ирония судьбы оказалась беспощадной. Не прошло и четверти часа, как на этой самой «непроходимой» дороге чётко обозначились силуэты русской пехоты — и с ними два танка прикрытия. Поставленная задача строжайше запрещала нам вступать в бой.

— Отступить! Немедленно! — мой командный голос разрезал тревожную тишину.

И начался ад. Мы побежали, как зайцы, прижимаясь к земле, которую ещё минуту назад изучали как геологи. Воздух разорвал свист пуль — тонкий, злой, пронизывающий. Внутри всё сжалось в ледяной ком от животного, первобытного страха. Ноги, ватные от усталости, теперь стали предательски подкашиваться. Это был мой первый настоящий обстрел.

И тогда огненная оса вонзилась мне в ногу, а следом — обжигающий удар в спину. Земля с размаху ударила в лицо, и я, беспомощный, ощутил, как кровь широкой, неумолимой струёй растекается по моей офицерской форме. Сознание поплыло, но сквозь нарастающий гул в ушах пробился раскатистый гром наших пулемётов — подоспела помощь, отбрасывая «проклятых Иванов».

Три долгих месяца я провёл в госпитале, между болью и забытьём. Когда же меня наконец выписали, даровав короткую передышку — отпуск домой, я в последний раз увидел жену. Мы пробыли вместе две недели — две недели, отравленные горьким осадком предстоящей разлуки. Мы молчали об этом, хотя она знала, что я вернусь на Восточный фронт. До Берлина уже начали доходить слухи, что всё складывается не так безоблачно, как нам казалось в самом начале. Под Москвой дела принимали неблагоприятный для нас оборот.

С женой моей, Гертрудой, я встретился в Берлине в ту пору, когда моя жизнь сделала неожиданный вираж. Вопреки вековой традиции моей семьи, где сыновья наследовали саблю и прусскую выправку, я избрал путь науки. Студентом химико-биологического института я чувствовал себя беглецом из мира прусской муштры и вечных бесед на военные темы.

Жена была моей полной противоположностью — и, возможно, в этом был главный секрет её очарования. Девушка из добропорядочной и обеспеченной семьи, она обладала умом блестящим и образованным, но носила это легко, как летнее платье. Её смех звенел, опровергая любые догмы, а живой, почти мальчишеский задор был той искрой, что зажгла во мне тихий, ровный свет.

Внешне хрупкая, внутри она таила стойкость лучшей стали. Я с восхищением, смешанным с умилением, наблюдал, как это изящное создание могло вступить в яростный спор с уличным лавочником из-за несвежей ветчины, отстаивая свою правоту с пылом и напором. Её негибемый характер был вызовом моей собственной, более созерцательной и мягкой натуре, и в этом контрасте мы обретали странную гармонию.

Лишь одна тень лежала на нашем общем счастье — у нас не было детей. Иногда я заставал её в гостиной: она сидела, склонив голову над сукном письменного стола, и весь её неукрытый задор куда-то улетучивался, сменяясь тихой, отрешённой грустью. В эти мгновения её плечи казались такими хрупкими, что их могла бы сломать одна-единственная неосторожная фраза. И я, всегда восхищавшийся её прямоотой, в этом вопросе был бессилён. Я не решался заговорить, боясь, что моё слово, словно камень, разобьёт хрупкость её печали. Мы хранили об этом молчание — самое тяжёлое из всех, что были между нами.

Пора отпуска осталась позади, за спиной. Я вернулся обратно на Восток. Стояла лютая русская зима — нам рассказывали о ней, но никто из нас не мог и представить, какая она на самом деле. Зимней формы на всех не хватало, и многие солдаты страдали от обморожения сильнее, чем от вражеских пуль. Воздух был таким ледяным, что каждый вдох обжигал лёгкие и вызывал панику. А потом мы увидели их — сибиряков. Русские бросили против нас целую дивизию этих людей, рождённых в холоде. Они не просто были одеты в тёплые полушубки и меховые шапки — они выглядели в них как дома. Их винтовки, укутанные в матерчатые чехлы, казались продолжением рук. Они передвигались по снегу легко, почти бесшумно, не проваливаясь, будто знали каждый сугроб. И ходил слух, что они с двухсот метров попадают точно в глаз.

Глядя на них, мы в своих тонких, продуваемых шинелях понимали самую страшную правду: мы здесь — чужие. Они были хозяевами этой белой пустыни. Их спокойствие, их молчаливая, почти презрительная поза вызывала у многих осознание собственной обречённости. Я не помнил ничего страшнее зимы 41–42 годов...

В феврале 42-го, когда казалось, что холод и смерть — единственные законы бытия, я получил письмо от Гертруды...

Она писала о чуде. Всего несколько строк, написанных сбивчиво и торопливо, но в них заключался целый мир: она ждала ребёнка! Счастье от этой вести было таким оглушительным, что на миг стёрло с лица земли всю войну.

Я зачитал это письмо до дыр. Носил его в нагрудном кармане, и казалось, от него исходит слабое, живое тепло. Каждый раз, перечитывая, я видел её — взволнованную, с сияющими глазами, торопящуюся поделиться сокровенным. Бумага истончилась, стала прозрачной на сгибах, чернила расплылись от сырости и частых прикосновений. Но слова я запомнил почти наизусть. Я благодарил Бога, не понимая, за что удостоился такой милости. Теперь я был не просто солдатом. Я стал отцом. Эта мысль меняла всё. Я мог, как другие, с гордостью показывать фотокарточку малыша, говорить о планах, мечтать о его первых шагах. У меня появилось будущее — хрупкое, драгоценное, ради которого стоило выжить.

Но потом наступила тишина.

Каждый день, замирая от страха, я рылся в пачке писем, которые приходили в батальон. Сперва находил оправдания: почта, задержки, война — есть война. Потом писал сам — длинные, полные трепета письма. В ответ — лишь оглушительное, ледяное молчание, которое звенело в ушах громче снаряда. Я ловил себя на том, что разговариваю с ней в мыслях, рассказывая о прошедшем дне, и ждал ответа, который не приходил.

Весть пришла в бездушном казённом конверте. Я едва не порвал его, вскрывая, — руки предательски дрожали. Письмо было от городского управления. Строчки прыгали перед глазами.

«...в результате вражеского авианалёта... полностью уничтожен... жертвы среди гражданского населения, среди них ваша супруга Гертруда Рихтер, урождённая...» — в глазах потемнело. «...приносим наши глубочайшие...»

Мир не рухнул. Он рассыпался. В мелкую, едкую пыль, которая забила лёгкие, въелась в глаза и поселилась в горле. В ушах стоял оглушительный, ничем не притупляемый звон. Наше будущее. Моя надежда. Всё, что ещё минуту назад было смыслом и воздухом, превратилось в пепел. В одну чёткую, чёрную строчку официального извещения.

Ком в горле не проходил несколько дней. Я отказывался верить. Написал снова, умоляя подтвердить, что это чудовищная ошибка. Ответ из Имперской канцелярии пришёл на удивление быстро. Всего одна строка, выведенная машинным шрифтом: «С прискорбием вынуждены подтвердить получение сведений о гибели вашей супруги».

В тот миг я понял, что такое настоящая смерть. Это не когда умираешь ты. Это когда умирает всё, ради чего ты готов был жить. Я остался в живых. Но перестал существовать.

Я таскал эту боль с собой повсюду. Она шла за мной по пятам — в атаке, на построении, в окопной грязи. Даже во сне она не отпускала, превращая отдых в продолжение кошмара.

Затем острая фаза боли отступила, сменившись леденящим равнодушием. А за ним, как тень, приползла жестокость. Она не обрушилась разом — она накапливалась исподволь, капля за каплей.

Изо дня в день я наблюдал, как гаснут глаза товарищей. А в собственной груди находил лишь абсолютную пустоту. В таких условиях жестокость перестала быть поступком, она стала состоянием, естественной реакцией на мир, который больше не имел для меня никакой ценности.

Грань между нормой и безумием не просто истончилась — она испарилась. Когда мне присвоили звание гауптмана, я отдавал приказы о расстрелах с тем же бесстрашием, с каким подписывал накладные на провиант. Война методично выжигала во мне всё лишнее — жалость, сомнения, память о том, каким я был. Оставляла лишь долг солдата, долг офицера, долг перед присягой.

Когда-то я думал: власть — это возможность быть услышанным. Оказалось, её истинная ценность — в возможности не слушать.

Но один миг врезался в память навеки. Среди обречённых жителей деревни, помогавшей партизанам, шла темноволосая девочка. Лет семи, не больше. Она не плакала, а смотрела на меня. В её огромных глазах светилась наивная, почти весёлая улыбка. Она просто не ведала, что её ждёт. Я следил за ней взглядом, и она, идя, несколько раз оборачивалась, чтобы встретиться со мной глазами и снова улыбнуться — так дети заигрывают со взрослыми, пытаются привлечь внимание.

Я несколько раз глубоко вбирал воздух. Грудь распирало от немого крика: «Эту — отпустить!» Но нельзя же одну. Придётся и мать, а там и остальные поднимут вопль, начнут цепляться. Солдаты уставятся на меня как на умалишённого — их ведь к сараю уже построили. Приказ нужно было отдать чётко, по уставу. Я так и не смог его произнести. Только кивнул.

Раздались выстрелы. Потом пошли проверять. У девочки изо рта текла тонкая алая струйка, а тёмные волнистые локоны прилипли к её открытым, ничего уже не видящим глазам.

После этого мне снились эти глаза. Несколько раз.

Уже на следующий день меня навестил Вебер.

— Ну что, брат, слава Богу, живой! — Его голос, громкий и раскатистый, ворвался в тишину госпитальной палаты, внося с собой кусочек того безумного мира, что остался за стенами. — Твои ребята уже спрашивали, где же наш ротный. Думали, конец. А я им сказал: не дождётесь! Он вас ещё помунштрует, как следует.

Я попытался приподняться на койке, и острая боль в руке напомнила о себе.

— Спасибо, Вебер, что вытащил меня, — выдохнул я. И в тот миг благодарность — жаркая, до краёв искренняя — вдруг перевесила всю мою боль.

— Ладно, чего уж там, — отмахнулся он, усаживаясь на табурет. — Я больше переживал, что если ты помрёшь, то на твою могилку ни одна фройляйн не придёт.

— Почему это не придёт? — удивился я, на самом деле прекрасно понимая, о чём он.

— Да потому что таких чёрствых калачей, как ты, я давно не видел! — воскликнул Вебер, размахивая руками. — С дамочками надо разговаривать, делать комплименты, а не курить в углу и смотреть задумчиво на свои сапоги, будто в них ответ на все вопросы.

— Ты давно на фронте встречал дамочек? — усмехнулся я.

Но Вебер, будто не слыша меня, продолжил с упоением:

— Да что там говорить! Ты и русскими-то не интересуешься, а некоторые очень даже ничего... Осмелюсь сказать, намного красивее наших. А пахнет от них как! Скошенной травой и молоком. А от наших — только дрянными духами из лавки старого Ханца.

Мы оба рассмеялись, и я, подмигнув, добавил:

— Ничего... я обязательно расскажу о твоих столь тонких предпочтениях нашему командиру.

Вебер, прекрасно понимая, что я шучу, всё же на секунду замялся, и на его смуглом лице мелькнула тень смущения. Он был молодым, крепким парнем, чья широкая, открытая улыбка, казалось, могла осветить даже эту мрачную палату. Образованный, начитанный, он обладал неиссякаемой внутренней энергией, которая придавала его интеллигентности какую-то особую, заразительную нотку свободы. В его присутствии война на время отступала, уступая место простому человеческому общению.

Вебер оказался единственным, кто не струсил подойти ко мне после известия о гибели жены. Остальные в батальоне знали о моём горе, но боялись даже заикнуться. А он приходил, разговаривал, пытался вытащить меня из этой ямы.

Вебер не боялся ранить меня. Он был груб, порой даже жесток в своей прямолинейности, задавая вопросы, от которых у других кровь стыла в жилах. Но именно эта его бесцеремонность и стала моим спасением. Отвечая на его резкие, казалось бы, неуместные расспросы, я вынужден был вытаскивать наружу свою боль, слово за словом, и с каждым разом та невыносимая тяжесть внутри понемногу ослабевала.

Жену я не забыл. Но Вебер помог затупить остроту этих воспоминаний. Можно было наконец говорить о ней — и боль уже не сковывала, а лишь тихо ныла где-то внутри.

Через пару дней меня отправили в тыловой госпиталь. Там я провёл почти два месяца, заново учась управлять своей покалеченной рукой. Она висела как плеть — мёртвая, чужая. Но я упёрся. Часами делал эти дурацкие, адские упражнения, скрипя зубами от боли. К выписке я уже мог сжать кулак и поднять кружку. Маленькая победа, за которую пришлось выложиться по полной.

С такой рукой на передовой мне делать было нечего. Но командование предложило другую должность. Об этом после.

А за несколько дней до того, как я покинул госпиталь, пришло письмо от товарищей из части. Короткое, всего несколько строк.

Вебер погиб под Севастополем.

Глава 2. Золотые ворота

Признаюсь честно: я был рад новому назначению. Во мне ещё жила надежда оставаться полезным Рейху, и новое место эту надежду оправдывало. А если уж совсем начистоту — война, со всей её грязью, кровью и бессмысленной рутинной, вымотала меня до предела. Даже сам дух полка стал мне тягостен.

Австрийцы, баварцы, северные немцы, итальянцы и румыны яростно отстаивали свои местечковые различия, с пренебрежением называя друг друга «пруссаками» или «деревенщиной». Эти разногласия, эта вечная склока даже из-за предпочтений в еде или мелких обычаев становились особенно нелепыми и раздражающими на фоне общего ужаса.

А русские... С ними было иначе. В них не чувствовалось раздробленности. Даже зная, что среди них — люди из разных советских республик, они называли друг друга «брат» или «славянин», и это не было пустым звуком. Их единение, сперва едва заметное, к середине войны стало осязаемой силой, которую мы так легкомысленно недооценивали.

Мы могли бесконечно твердить о превосходстве немецкого духа, но горькое осознание точило нас изнутри: их упрямство, это русское, простое упрямство, оказалось той самой занозой в теле. Оно было проще, суровее и оттого казалось несокрушимым. Ещё Шиллер говорил, что истина не страдает оттого, что её кто-то отвергает. Мы эту истину не признавали, мы яростно сражались с ней, но от нашего отрицания она не переставала быть истиной. И это тихое, невысказанное сомнение жило в сердце каждого мыслящего немецкого солдата.

Перед самой выпиской из госпиталя ко мне поступило уведомление из Министерства вооружений и боеприпасов. Меня, как химика по образованию, пригласили возглавить производство авиабомб и боеприпасов на заводе, расположенном в концлагере Гинке, на территории оккупированной Польши.

Скажу прямо: все разговоры о том, что мы, военные, ничего не знали о существовании лагерей, — ложь. Мы знали. Другое дело, что истинные масштабы происходящего за их колючей проволокой оставались для большинства из нас смутными слухами, о которых мы особенно и не разговаривали. На передовой было не до этого.

Я, как офицер, поначалу встретил это предложение с недоумением. Возглавить какой-то тыловой завод, где под конвоем будут трудиться пленные евреи? Нет, этого мне хотелось меньше всего. Но в том-то и заключалась изощрённая подлость — мне не отдали приказ. Мне сделали предложение: вежливое, обставленное всеми формальностями, но которое не терпело отказа. От меня ждали добровольного, осознанного согласия. И на следующий день я это согласие дал.

Почему? Я был инвалидом, непригодным для фронта. Мысль вернуться в родной Берлин, к обгорелому остову своего дома, к призракам прошлого казалась мне куда более страшной участью. Да, была ещё квартира родителей, но перспектива влачить там жалкое существование в одиночестве угнетала меня сильнее, чем смутный страх перед новым назначением. Я предпочёл быть полезным калекой, чем обузой общества. Это был эгоистичный выбор, но я сделал его, заглушив внутренний голос, шептавший мне о цене, которую придётся заплатить за эту «пользу».

Пронзительный гудок паровоза разорвал пелену предрассветной тишины, возвестив о моём прибытии в Гинке. Воздух, ещё не успевший прогреться, сохранял ночную свежесть, но в нём уже чувствовалось обещание предстоящего зноя. Солнце только поднималось над горизонтом, его лучи пробивались сквозь редкие облака, окрашивая небо в бледно-золотистые тона.

Эта умиротворяющая картина, однако, не приносила спокойствия. Незнание, которая ждала меня впереди, пробуждала в душе смутную, но настойчивую тревогу. Я, прошедший войну, привыкший смотреть смерти в лицо на передовой, чувствовал себя здесь, в тылу, неуютно и скованно. Что за место этот Гинке? Какие люди здесь работают? Эти вопросы не давали мне покоя, леденили душу холодком неизвестности, который не могли развеять даже первые лучи летнего солнца.

Скромный багаж уместился в одном чемодане, который я нёс сам. Вход в лагерь, если его можно было так назвать, представлял собой массивные металлические ворота, напоминающие церковные. Проходя под ними, я невольно усмехнулся — вместо пальмовых ветвей меня встречали двое суровых охранников в чёрной форме СС, бросив короткое приветствие. После проверки документов они указали мне направление к комендатуре, куда я и направился, чтобы отрапортовать о своём прибытии.

Ещё во время подписания соглашения с министерством я настоял на сохранении за собой офицерского звания и отказался подчиняться лагерному командованию. Министерство, хоть и не без сомнений, согласилось на мои условия, но формальности никто не отменял.

Гинке поразил меня своими масштабами. Передо мной раскинулся целый город-лагерь, мрачный и бездушный, состоящий из бесконечных рядов однообразных бараков, казарм для охраны, административных зданий из красного кирпича, достаточно большого завода и двух крематориев.

По мере моего продвижения вглубь лагеря сквозь утреннюю дымку стали проступать фигуры людей. Одеты в серые, бесформенные лохмотья, они больше напоминали тени, бесшумно скользящие по серой земле. Их лица, лишённые каких-либо эмоций, смотрели куда-то в пустоту. Они не обращали на меня никакого внимания, двигаясь безвольно, словно стадо измученных, загнанных овец. Такой удручающей картины я не видел даже в лагерях для военнопленных, хотя, признаться, насмотрелся на них предостаточно.

В комендатуре, пропитанной запахом табака и кофе, меня встретил дежурный с заспанным, одутловатым лицом. Он смотрел на меня пустым, остекленевшим взглядом, в котором не было ни капли интереса к моему появлению. Его голос прозвучал хрипло и отрешённо: «Комендант ещё отдыхает. Зайдите после девяти».

Он протянул мне холодный ключ, даже не взглянув в мою сторону. Затем ленивым жестом подозвал одного из охранников — того, что дремал на табурете в углу, прислонив винтовку к стене.

— Проводи, — буркнул дежурный, уже отворачиваясь.

Охранник молча кивнул, протирая сонные глаза, но взгляд его, упав на меня, стал удивительно живым и заинтересованным. Он махнул головой в сторону двери — и мы вышли в утреннюю мглу.

В воздухе пахло влажной землёй и едким дымом крематориев. Чтобы развеять гнетущее молчание, я попытался завести беседу. Молодого охранника звали Дёниц. Как выяснилось, он уже около восьми месяцев нёс службу в этом лагере. Родом он был из Ляйпцига — города, где я бывал в юности. Городишко, по правде говоря, был прескверный. Но Дёниц, к моему удивлению, без тени смущения принялся описывать мне уютные улочки старого города и величие Святого Фомы. В его голосе звучала ностальгическая нежность, столь неуместная в этом гиблом месте.

Я попытался сменить тему, осторожно намекая на подробности лагерной жизни, но мой спутник ловко отвертелся от ответов, словно боксёр от ударов. У меня сложилось стойкое впечатление, что у него были строгие указания не посвящать новоприбывших в курс дел раньше начальства.

И всё же, сквозь эту игру, мне почудилось, что мы могли бы подружиться. В Дёнице было что-то, смутно напоминавшее мне отца в его молодые годы, — те же суровые глаза, резкие,

угловатые черты лица, но при этом та же внутренняя живость и прямота, что у настоящих солдат читается почти с первого взгляда.

Мои апартаменты оказались неожиданно роскошными: небольшая, но уютная гостиная, отдельная спальня и — о чудо! — собственная ванная. Такое размещение в этой глуши казалось почти нелепой роскошью. Радость, тёплая и стремительная, на мгновение вытеснила всю дорожную усталость и гнетущие предчувствия.

Вскоре в дверях с лёгким стуком вновь появился Дёниц. На этот раз его каменное лицо озаряла широкая, почти дружелюбная улыбка. В руках он держал поднос, ломившийся от яств: сочный, томлёный кусок говядины, дымящийся чечевичный суп, ломоть душистого сыра и на десерт — половина бутылки красного вина. Я, тронутый таким вниманием, разумеется, предложил ему разделить трапезу, но Дёниц вежливо, но твёрдо отказался, сославшись на сытость и неотложные дела в комендатуре.

После этого поистине королевского завтрака я с наслаждением погрузился в горячую ванну, смывая с кожи дорожную пыль и часть усталости. Освежившись, я тщательно побрился и с почти церемонным чувством переделался в чистое бельё и свежий мундир, отложив в стору пропылённую дорожную форму.

Ровно в девять, как и было условлено, бодрый и приведённый в порядок, я явился в комендатуру. Внутри, однако, царил всё та же унылая, будничная атмосфера, резко контрастировавшая с тем праздничным комфортом, что был мне предоставлен.

Йозеф Гаудер, комендант лагеря, встретил меня с плохо скрываемым раздражением. Бывший налоговый служащий, он и здесь сохранил вид дотошного клерка. Создавалось впечатление, что к уничтожению людей он относился с той же педантичной скукой, с какой когда-то проверял бухгалтерские отчёты, — как к рутинной, малоприятной, но необходимой работе. Гаудер, прекрасно осведомлённый о моём особом статусе и том, что я не подчиняюсь ему напрямую, вручил мне внушительную папку, набитую бумагами, касающимися работы завода.

— Изучите к завтрашнему утру, — буркнул он, не глядя мне в глаза.

Я коротко вскинул руку в приветствии и вышел из кабинета, чувствуя себя не офицером, а школяром, нагруженным кипой скучных учебников. «Чёрт побери!» — мысленно выругался я, с отвращением предвкушая долгие часы, проведённые за этими конвейерными схемами и отчётами о расходе материалов. Всё это было так далеко от войны, которую я знал, и от той «пользы Рейху», которую я себе воображал.

Следующим вечером ко мне постучались. Я поднял голову от бумаг, которые бессмысленно перекладывал уже с полчаса, и на мгновение замер — кто в такой час? Я открыл дверь и увидел на пороге Дёница. Он стоял, слегка сутулясь, и мял в руках фуражку.

— Герр оберст-лейтенант... — заговорил он нерешительно.

Я сперва подумал: пришёл по делу. Может, что-то случилось на посту? Но он помедлил, переступил с ноги на ногу и выпалил:

— Я тут раздобыл полбутылки коньяка... и подумал, что, может быть, вы согласитесь выпить со мной?

Я замер. Честно говоря, такого я не ожидал. Дёниц — и вдруг с коньяком, ко мне, почти по-дружески? Я удивлённо поднял брови. Наверное, на моём лице отразилось что-то, что он принял за отказ, потому что быстро заговорил снова:

— Мне вчера показалось... что вы могли бы согласиться... поговорить и выпить. Простите, что побеспокоил.

Он резко развернулся и сделал шаг к выходу. Внутри у меня что-то кольнуло — не то жалость, не то внезапное понимание: человек тянется ко мне, а я стою как истукан.

— Дёниц! — окликнул я.

Он замер, потом медленно обернулся.

— Заходи. Не пропадать же добру.

Дёниц широко улыбнулся — облегчённо, почти по-мальчишески, — и переступил порог, старательно вытирая сапоги у входа.

Я усадил его за стол, достал бокалы — простые, армейские, других у меня не было, — и мы налили. Коньяк оказался терпким, с горчинкой, но после первого глотка по телу разлилось тепло. Поначалу мы долго молчали. Я смотрел в свой бокал, видел, как янтарная жидкость мерцает в свете лампы. Дёниц сидел напротив, не поднимая глаз. Тишина висела в комнате достаточно долго. Я чувствовал, что он хочет что-то сказать, но не решается. Я тоже молчал — пусть сам начнёт.

Только после второй рюмки языки наши развязались. Дёниц тяжело вздохнул — всей грудью, как человек, который долго нёс груз и наконец решил его сбросить.

— Вы с фронта к нам? — спросил он неловко и тут же уставился в стол, будто ему стало стыдно за этот вопрос.

Я усмехнулся.

— Дёниц, предлагаю сразу перейти на «ты». Пить и разговаривать на «вы» — как-то не то, согласишься.

Он чуть заметно расслабил плечи и кивнул. Только сейчас я заметил, как он напряжён: спина прямая, пальцы сжимают бокал.

— Да, я после ранения сюда попал. Служил в мотопехоте, ротой командовал.

Он покачал головой — медленно, с каким-то невысказанным уважением.

— Я тоже служил на фронте. Долго служил. — Он помолчал, провёл пальцем по краю рюмки. — Но я ведь эсэсовец. Начальство перевело сюда, хотя я не хотел. Клянусь, не хотел.

— Почему? — спросил я, глядя на него в упор. — Здесь хотя бы каждый день не обстреливают.

— Нет, — тихо сказал Дёниц. — Здесь не обстреливают...

Он замолчал, отпил глоток, поморщился. Потом вдруг поднял на меня глаза.

— Не обстреливают, — повторил он протяжно, растягивая гласные. — Но я солдат. Я не получаю удовольствия от того, что бью полудохлых евреев, чтобы они лучше работали. Мне кажется... это как-то не подходит боевому офицеру.

Он поставил бокал и посмотрел на меня в упор.

— Ты, Рихтер, может быть, иного мнения?

«Иного мнения, — подумал я. — А какое у меня вообще есть мнение? Я сам не знаю, что мне здесь придётся делать. С одной стороны — он прав. С другой — если я это признаю, то... то что?» Я отогнал мысли.

— Я с этим ещё не сталкивался, — сказал я ровно.

Дёниц усмехнулся — горько, безрадостно.

— Ты скоро столкнёшься, — парировал он.

Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.

— Не то чтобы я испытывал к ним жалость, не подумай. — Голос его стал жёстче. — Просто я не для этого в СС пошёл. Не для этого просился на войну — чтобы тут махать палкой, как сварливая старуха.

Я усмехнулся и прищурился.

— С виду ты не похож на того, кто испытывает угрызения совести, издеваясь над евреями.

— А я и не испытываю, — оживился он, даже чуть подался вперёд. — Плевать я на них хотел.

Но когда он это произносил, я всё же усомнился в сказанном. Слишком быстро заговорил этот молодой парень, слишком горячо.

Дёниц замолчал, отхлебнул коньяк и уставился в стену. Потом он вздохнул и сказал уже тише, почти устало:

— На фронт хочу.

Он ещё помолчал. Я ждал.

— А ты?

Я задумался. Вопрос застал меня врасплох. На фронт? Туда, где каждый день смерть, где грязь, кровь, где я потерял всё? Или туда, где был хоть какой-то смысл? Я не знал ответа. Или не хотел себе в нём признаваться.

— Я хотел бы, — сказал я наконец и вздохнул. — Но после ранения не берут. Рука не работает. — Я пошевелил пальцами левой руки — они слушались плохо, с трудом. — Так что я решил лучше здесь, чем домой возвращаться. Меня там никто не ждёт.

Дёниц нахмурился, глядя в моё лицо — внимательно, даже слишком пристально.

— У тебя нет семьи? — спросил он.

Я отвернулся к окну. За стеклом была чернота, хоть глаз выколи. «Сказать? Не сказать? — лихорадочно подумал я. — Зачем ему знать? Что изменится?»

— Никого не осталось, — ответил я и замолчал на несколько секунд.

Перед глазами на миг мелькнуло лицо жены — размытое, будто старое фото, которое долго держали на солнце. Я отогнал это видение.

— А у тебя? — спросил я, чтобы перевести разговор.

Дёниц заметно оживился, даже сел прямее.

— Родители сейчас недалеко от Магдебурга живут. А жениться... — он как-то замялся, и я заметил, как на его щеках проступил румянец. — Не успел. Но меня там ждет одна... знаешь, такая... — Он изобразил руками что-то, что должно было показать пышную женскую грудь, и смущённо усмехнулся.

Я рассмеялся — искренне, впервые за долгое время.

— Уверен, что такого, как ты, дождётся, — сказал я.

— Я тоже так думаю, — ответил он, уже улыбаясь, и полез во внутренний карман кителя. — Вот, письмо мне написала.

Он достал потрёпанный конверт — зачитанный до дыр, с загнутыми краями. Было видно, что, несмотря на его шуточный тон, он перечитывал эти строки десятки раз, а может, и сотни. Пальцы его коснулись конверта почти нежно, словно это было что-то хрупкое.

— Дай почитать, — попросил я, уже чувствуя хмель.

Дёниц помедлил секунду, потом торжественно, будто вручал боевое знамя, протянул мне конверт. Я начал читать вслух. Сначала шли обычные слова — «дела в городе», «погода», «скучаю». А потом, когда я добрался до места, где она писала о своих чувствах, мы оба солдатски рассмеялись. Дёниц, покраснев до корней волос, закрыл лицо рукой.

— Ладно, хватит, — пробормотал он, выхватывая у меня письмо. Но глаза его смеялись.

С того дня Дёниц заходил ко мне частенько. Мы сдружились — насколько вообще может сдружиться офицер с подчинённым в таком месте, как это. Хотя я ему никогда до конца не открывался. О моей семье он толком так ничего и не узнал. Я посчитал это лишним.

Зачем ворошить прошлое, которое не вернуть? И зачем кому-то знать, что ты носишь внутри?

Каждый новый день методично втягивал меня в рутину лагерного существования.

Утро начиналось с обязательной переключки — унылого и, на мой взгляд, бессмысленного ритуала. Надзиратели выкрикивали номера, а из серой, оборванной массы доносились невнятные ответы. Вся эта процедура растягивалась на долгие часы, превращаясь в какую-то бюрократическую пытку. Если кто-то сбивался или не откликнулся — а в их состоянии это было неизбежно, — всё начиналось по новой.

Люди падали от изнеможения. Их поднимали, иногда применяя для убедительности силу, и заставляли стоять дальше. Я наблюдал за этим без особых эмоций — просто ещё одна неэффективная процедура, порождённая системой. Для меня это был лишь фон, раздражающий

шум, мешавший сосредоточиться на моей работе. Мне нужно было наладить производство на заводе, вернуть к жизни эти цеха и вывести производство снарядов и авиабомб на необходимые, чётко предписанные цифры. Всё остальное следовало игнорировать.

После переключки начиналась рабочая повинность — заключённые распределялись на различные работы, большую часть которых можно было смело назвать бессмысленной тратой человеческого ресурса. Но куда менее продуктивными были дни селекций. В такие дни в лагере поднималась нездоровая суэта, нарушавшая рабочий ритм.

Заключённых выстраивали на плацу, где лагерный врач — человек в белом халате, но без малейшего понимания истинной практической пользы — одним взмахом руки определял, кто ещё может работать, а кто стал балластом. Слабых и больных отправляли в сторону — часть уходила в газовые камеры, а другая часть — под расстрел. Процедура, надо признать, была организована чётко.

Постоянным фоном ко всему этому служил специфический запах — сладковатый, тяжёлый, исходивший от крематория. Сначала он раздражал, но со временем стал просто частью окружающей обстановки, как запах химического производства или выхлопные газы. Когда нечто становится частью ежедневной рутины, оно перестаёт вызывать какие-либо эмоции.

Если на фронте ещё теплились остатки воинской дисциплины, то здесь царил настоящий хаос. По ночам Гинке погружался в самый отвратительный разгул. Офицеры, словно звери, сорвавшиеся с цепи, предавались диким оргиям. Они напивались до беспамьятства, танцевали на столах, орали похабные песни.

Особой популярностью пользовались заключённые женщины — еврейки, польки, русские. Их, ради потехи, наряжали в яркие платья и заставляли краситься, создавая жуткую пародию на веселье.

Я предпочитал держаться подальше от этих сатаналий. По опыту знал, чем заканчиваются такие вечера, — полным помутнением рассудка. Хотя, признаться, иногда, измученный тоской и одиночеством, я всё же приходил туда.

Так оно и случилось в день рождения Дёница.

Водка лилась рекой — та самая, которую на фронте берегли и по глотку делили на десятерых, здесь выставлялась ящиками, без тени смущения. Кто-то орал пьяные песни, кто-то визжал, захлёбываясь неестественным, истерическим смехом, кто-то молча, с каменным лицом, опустошал стакан за стаканом. Дёниц, освободившись после дежурства, напился раньше всех и теперь спал в углу, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Я подарил ему в тот день бутылку настоящего ирландского виски — она так и осталась стоять нетронутой, прислонённой к его голенищу.

Без Дёница мне стало скучно. Я сидел, машинально наматывая на палец невидимую нить, и наблюдал за этим балаганом. И вдруг кто-то из офицеров — я даже не разглядел, кто именно — бесцеремонно толкнул ко мне на колени какую-то польку.

Надзирательницы, те вообще люто их ненавидели. Видимо, завидовали — даже в лагере, даже после всех унижений, эти женщины умудрялись выглядеть лучше их, сохранять в чертах что-то неуловимо живое. Мерзкая женская ревность. Самая слепая и самая беспощадная.

Эта была как все: кости да кожа. Лицо, которое в мирное время вряд ли привлекло бы моё внимание. Я посмотрел на неё, она — в пол, и я понял, что она уже знала, зачем её сюда привели.

Когда за нами закрылась дверь в комнате, я спросил, хочет ли она остаться со мной. Вопрос был чистой формальностью. Она молча расстегнула верхнюю пуговицу платья — пальцы её дрожали, мелко и часто, но лицо оставалось бесстрастным.

Утром я увидел её на полу. Она сидела, сжавшись в несчастный комок у стены. Я уже не помнил, зачем, чёрт возьми, я это сделал.

Я протянул ей хлеб и банку консервов. Потом отвернулся к окну, чиркнул зажигалкой, втянул сигаретный дым — горький, обжигающий. За спиной послышался лёгкий шорох: она поднялась, собрала свою одежду, обулась. Я слышал каждый её шаг, но не обернулся.

Дверь щёлкнула.

Я докурил сигарету до фильтра, затушил о подоконник и долго смотрел на пепел, оставшийся на пальцах.

Больше я её никогда не встречал.

Наступил сентябрь. Стояли по-летнему тёплые дни, но в воздухе уже витало незримое предчувствие осени. Солнце ласково грело, но в его свете чувствовалась особая, прощальная мягкость. С момента моего назначения директором завода прошло всего пара месяцев — срок ничтожный, но достаточный, чтобы понять: тыл оказался сложнее любого фронта.

В утренние часы, когда роса ещё сверкала на колючей проволоке, я обходил цеха. Поражало не отсутствие ненависти во взглядах, а их отчуждённая покорность, будто люди стали тенями, призраками в этом неестественном мире. Все они — простые работники, инженеры, лаборанты — превратились в детали гигантского механизма, где я был регулировщиком невидимых шестерёнок.

На фронте всё было ясно: приказ, атака, результат. Здесь же каждый шаг приходилось соизмерять с производственными нормативами из Берлина, произволом лагерного начальства и тем, что работники — это полудохлые евреи.

Когда-то я, вероятно, смутился бы, глядя, как люди превращаются в рабочий скот. Но теперь я понимал: за колючей проволокой свои законы. Здесь человек стоит ровно столько, сколько он производит. Сентиментальность — непозволительная роскошь.

«Германия превыше всего» — эта формула оказалась удивительно практичной. Она снимала все вопросы, отсекала ненужные сомнения. Голодные заключённые, печи крематория — всё это становилось просто... статистикой. Неприятной, но необходимой платой за прогресс и будущее величие нации. Ради великой цели можно было закрыть глаза на многое. И я охотно закрывал.

Моя задача была проста: обеспечить бесперебойную и эффективную работу завода. Эти цеха — настоящая кровь войны, артерии, питающие нашу победу.

Вот только организм, похоже, страдал малокровием. Оборудование постоянно выходило из строя, словно его собирали пьяные слесари. А тот проклятый водяной насос... казалось, сломался навсегда.

Но больше всего раздражало качество «рабочего материала». Я бы молился на школьного учителя химии, будь он здесь. Вместо этого лагерь пополнялся серой массой — какими-то доярками, музыкантами, банковскими служащими и прочим балластом. Человеческий мусор, годный разве что на переработку.

Каждое утро я проделывал один и тот же ритуал: шёл на селекцию вновь прибывших. Вглядывался в эти испуганные лица, пытаюсь разглядеть за грязью и страхом хоть крупицу полезных навыков. То осеннее утро не стало исключением — та же серая масса, те же пустые взгляды. Рутинка, одним словом.

Глава 3. Дочь Иaira

Утро началось с назойливого птичьего пения под окном. Птице, похоже, было безразлично, что она находилась в лагере, где рядом в крематории сжигали людей. Для неё жизнь текла своим чередом. Казалось бы, ничего необычного в её появлении не было, но чем беззаботнее звучали её трели, тем невыносимее они для меня становились.

Я побрился, натянул свой мундир и вышел на порог. Попытался прогнать певунью свистом — бесполезно. Она лишь склонила набок голову и уставилась на меня, будто наблюдала за очередным дураком, не способным справиться даже с пернатым. Казалось, это была насмешка природы над моим высоким положением. Я наклонился, взял валявшийся на дороге булыжник и запустил в неё. Обиженная птица вскинула крылья, на секунду зависла в воздухе и улетела, решив, что такой грубиян, как я, более не достоин её внимания.

Я направился в пятый корпус, где предстояла очередная селекция вновь прибывших. Сегодня её вела Эрика, худая немка с пучком странных мелких кудряшек и вечной гримасой безгливости на лице.

Будучи малого роста, она, видимо, пыталась компенсировать это избыточной жестокостью. Её пронзительный голос, похожий на скрип несмазанной телеги, заставлял даже видавших виды заключённых невольно съёживаться. Она работала в лагере почти со дня его основания и за это время, как казалось, утратила последние человеческие чувства. Эрика уже давно не видела в людях людей, а лишь оценивала их пригодность — как, впрочем, и я. Но в её случае это носило явно садистский оттенок. Казалось, она получала странное, глухое удовольствие, отправляя очередную группу пленных в так называемую «баню».

Мы никогда не находили с ней общего языка. С её точки зрения, я был высокомерным снобом. С моей — она была воплощением тупой, бездумной твердолобости.

— Доброе утро, фрау Сейдлиц, — произнёс я, стараясь сохранять формальную вежливость, хотя её присутствие действовало мне на нервы. — Есть сегодня кто-то стоящий?

Эрика язвительно усмехнулась.

— Стоящий? Для вашего завода? Есть доярки и пастухи. Надеюсь, их навыки помогут наладить производство.

Я пропустил её колкость мимо ушей, устроился в кресле в углу и, развернув газету, закурил. Краем уха я отслеживал происходящее: бесконечный поток людей перетекал из ряда в ряд под бдительным взглядом Эрики. Я поднимал глаза лишь тогда, когда кто-то привлекал моё внимание. Если человек имел полезное для завода образование или выглядел достаточно крепким, я бросал Эрике короткое: «Оставь», — и вновь погружался в чтение.

Селекция длилась уже больше двух часов, но день выдался удачным. Мне удалось отобрать одного инженера и много крепких мужчин на производство. Меня уже начало угнетать это пространство, заполненное бесчисленной человеческой массой, и я собрался уходить, как вдруг в корпусе на мгновение повисла тишина.

Я отложил газету, намереваясь сообщить Эрике о своём уходе, ссылаясь на нехватку времени, — и тут же застыл. Взгляд, наткнувшись на нечто поразительное, отказался повиноваться.

Среди серой, потухшей человеческой массы стояла девушка, чьё присутствие нарушало все законы этого места. Она выделялась разительно. Высокая, почти гордая осанка, хотя плечи её были слегка ссутулены от усталости. На ней болталось какое-то мешковатое платье, но оно не портило её, а лишь оттеняло нечто иное. Светлые, упрямые глаза — яркие, живые, наполненные внутренней силой. Губы тонкие, придававшие лицу строгость и замкнутость.

Она внимательно посмотрела на Эрику, потом на меня. Я понял, что она видела не мундир и не погоны — она смотрела на моё лицо, в её взгляде читалась эмоция, которую я не

мог сразу понять. Затем она слегка склонила голову набок, и до меня наконец дошло: это была жалость. Чистая, без примесей жалость!

Я не понимал, как эта эмоция могла возникнуть здесь, в этих стенах. Я привык видеть страх, растерянность, отчаяние — но не это. Возникло ощущение, что сейчас она будет решать, что делать со мной. Что именно она вершит судьбу, а не я.

Это заставило меня, обстрелянного офицера, привыкшего к виду смерти, — впервые за долгие месяцы испытать нечто вроде смущения. Я опустил глаза, будто пойманный на чём-то постыдном.

В следующее мгновение Эрика, с лицом, застывшим в мрачном удовлетворении, уже вымахнула рукой, указывая в сторону «бани» — того места, откуда не было возврата.

Я машинально провёл ладонью по гладко выбритой коже. Решение нужно было принять сейчас, сию секунду. Не было времени даже на мысль. Если я промолчу — она исчезнет. Навсегда. Газовая камера, крематорий, пепел. И всё. Этот взгляд — последний. Больше я её не увижу никогда.

Почему-то вспомнилась та девочка на Восточном фронте. Её глаза, которые я не сберёг. И я понял, что в этот раз промолчать не смогу.

И тогда, словно не своим голосом, сорвавшимся и чуть хриплым, я выдохнул:
— Оставь.

Эрика медленно повернула ко мне голову, понимая, что применение этой худой женщины на заводе выглядело странным. Её взгляд, тяжёлый и изучающий, заставил меня почувствовать себя мальчишкой, пойманным на враньё.

«Насос сломался, — выдавил я, изображая безразличие. — Воду некому носить».

Губы Эрики изогнулись в едва заметной, но красноречивой усмешке. Она, конечно же, разгадала мою слабость: этот внезапный порыв не был продиктован нуждами производства. Лишь мимолётным впечатлением от внешности девушки — так она, несомненно, подумала. Её лагерный статус не позволял открыто перечить моим решениям, однако теперь она с наслаждением наблюдала мою растерянность — ту, что мне не удалось скрыть.

Эрика намеренно тянула паузу, давая смущению достичь предела, а затем отрывисто указала рукой в сторону рабочей группы. Возражать она не стала — видимо, посчитала это неуместным.

Я сидел в ступоре, пытаюсь осознать, что только что сделал. Впервые за всё время здесь я пошёл против правил, просто потому, что не смог поступить иначе.

Проведя на селекции ещё около получаса, я почувствовал потребность снова пройти вдоль шеренги отобранных. Теперь я мог взглянуть на неё без спешки и суеты.

Заключённая стояла в ряду женщин и была выше их всех почти на голову. Среди пёстрых платков выделялась её аккуратная голова с волнистыми чёрными волосами. В отличие от других, которые смотрели в землю или прямо перед собой, она вертела головой по сторонам — изучала это странное, чужое место. Лишь нервно переплетённые пальцы выдавали её скрытое волнение.

Её лицо не было той правильной навязчивой красоты, что бросается в глаза сразу. Оно было иным — живым, несовершенным и оттого настоящим. Чем дольше я на него смотрел, тем больше в нём открывалось: тонкая линия бровей, разрез глаз, очертания губ. Отвести взгляд было трудно — он цеплялся, увязал в этих чертах, обещая открыть что-то ещё, если смотреть дольше.

Я шёл вдоль шеренги, видя лишь её одну. Когда я остановился прямо напротив, наши взгляды встретились. Я знал — она не выдержит долго. Теперь была моя очередь дать ей понять, кто стоит перед ней. Девушка наконец осознала это: её глаза, скользнув по офицерскому мундиру, тотчас же опустились к земле. Спорить взглядом она больше не решалась.

В этот момент к ней подошёл парикмахер, держа в руках гудящую машинку и ножницы. Согласно порядку, всех новоприбывших полагалось брить наголо.

Она вдруг вцепилась в свою косу с таким отчаянием, что мне стало почти смешно. И правда — с волосами она выглядела куда привлекательнее.

— Оставь ей... — я коротко усмехнулся и намеренно выдержал паузу, прежде чем закончить: — ...половину.

В течение недели я дважды видел её, и оба раза это было неожиданностью — короткой, но нарушавшей привычное течение дня.

В первый раз она промелькнула у входа в завод, сторбленная под тяжестью двух переполненных вёдер. Вода из них хлопала на землю, оставляя за ней прерывистый, тёмный след. Мы в тот момент стояли с группой офицеров, курили, и один из них, облокотившись о поручень, с хриплым смехом рассказывал историю про своего приятеля. Тот в первые дни войны попал под русский обстрел, возвращаясь из бани, и ему пришлось преодолеть полкилометра голым, «тряся причинным местом, как перепуганный бычок».

Лихой, грубый смех оглушительно гремел на весь плац. И в этот самый момент она прошла мимо, уткнув взгляд в пол, втянув голову в плечи, всем своим существом пытаясь стать невидимой. Промокшее от пролитой воды платье неприятно облегало её, делая ещё более заметной болезненную хрупкость талии, тонкую линию ног.

Улыбка застыла на моём лице, став чужим и нелепым атрибутом. А взгляд, вопреки всякому усилию, сорвался с собеседника и увяз в ритме её отступающих шагов.

Я не знал ни её имени, ни номера. Обычная административная неразбериха с новоприбывшими, которую я всегда считал досадной мелочью, вдруг показалась личным оскорблением. Меня угнетало то, что отобрал её именно я, а теперь не имел над ней никаких прав — официально она не числилась в моём подчинении, не была сотрудницей завода, а лишь лагерной заключённой. Эта двусмысленность положения вызывала во мне почти болезненную ревность.

Вторая встреча произошла у водохранилища. Девушка сидела на корточках, прислонившись к стене напротив огромного резервуара с водой, и ела баланду из жестяной миски. Она не смотрела по сторонам, полностью поглощённая едой — неторопливо и сосредоточенно, как это делали все бывалые заключённые. Наверное, кто-то уже объяснил ей, что есть нужно медленно — так скудное насыщение растягивалось надолго. У здешних обитателей были свои премудрости, помогавшие продержаться ещё и ещё один день.

И несмотря на эту унижительную сцену, в её движениях была странная, почти необъяснимая грация. Она ела с той же естественной сдержанностью, с какой могла бы пить чай из фарфоровой чашки.

Я огляделся вокруг — рядом не было никого. Мысль созрела в одно мгновение. Короткими, чёткими шагами я приблизился, схватил её за грубый ворот рубашки и резко дёрнул к себе, чтобы разглядеть номер. Ткань натянулась, обрисовывая линию хрупких ключиц. Она вздрогнула и подняла глаза — огромные, светлые, наполненные удивлением и даже ужасом. Она узнала меня.

Я успел запомнить цифры: 45611. Этого было достаточно. Резко развернувшись, я быстрым шагом направился к заводу, ощущая на спине её пристальный взгляд. Казалось, он прожигал ткань мундира ещё долгие секунды, пока я не скрылся за углом здания.

Глубокие сумерки сгущались, окутывая лагерь влажной сизой пеленой. Вернувшись в свою комнату, я ощущал не только привычную усталость от заводских дел — всё моё существо, каждая мысль были неотступно заняты ею.

Это мучение коренилось не в одной лишь её необыкновенной внешности. Причина была глубже: она тронула во мне струны, молчавшие долгие годы. Я, казалось, даже начал забывать о заводских делах. Не понимая, что со мной произошло, я ощущал лишь что-то смутное, давно ушедшее... Как в юности, когда, собираясь вечером на прогулку, ловил себя на предвкушении встречи с девчонкой, в которую, как тогда верилось, был влюблён на всю жизнь. Чудилось, будто она из своих вёдер поливала мою зачерствевшую душу. И я никак не мог разгадать, что творилось со мной при мысли о ней, — но я жаждал её видеть, слышать её голос.

Конечно, языковой барьер делал прямое общение бессмысленным. Но в моей голове уже зрела мысль, от которой внутри разливалось горячее, запретное чувство, которое страшно тешило моё самолюбие. Я был старшим офицером, директором завода. Я мог делать с заключёнными всё, что захочу. И с ней тоже. Какая разница, что мы не поговорим? Я мог приказывать ей явиться сюда и сидеть в моей комнате сколько захочу. Рассмотреть её как следует, а не украдкой, как вор. Всё было в моей безграничной власти, и в эту минуту я ощущал её в полной мере. Это было удивительное чувство. Я даже позволил себе тихую, самодовольную улыбку, моё сердце бешено заколотилось.

Я вышел из комнаты на улицу и остановился перед Деницем, который нёс сегодня службу на посту.

— Дениц! — голос мой прозвучал твёрдо и резко.

Он вытянулся по стойке «смирно», хотя к тому моменту наши отношения успели стать очень дружескими. Мы часто сидели вечерами на пороге моей комнаты и разговаривали о службе: он, как и я, большую часть военной карьеры провёл на передовой, и это странным образом сближало нас — особенно на фоне тех твердолобых болванов, которые с начала оккупации Польши строили здесь лагерь и понятия не имели о настоящей окопной жизни. Дениц с удивительной откровенностью обсуждал лагерные порядки, не стесняясь порой высказываться о Гаудере и даже о жестокости здешнего быта, но при этом оставался верен Германии, а субординацию в минуты службы соблюдал безотказно.

— Позови 45611. Пусть тщательно вымоет пол у меня в комнате.

— Из какого барака, герр оберст-лейтенант? — спросил Дениц, глядя прямо перед собой.

— Чёрт его знает, из какого барака! — огрызнулся я. — Может, мне ещё проводить тебя?

Дениц резко щёлкнул каблуками, давая понять, что провожать его не нужно, а вопрос его и в самом деле был неуместен. Не сказав ни слова, он развернулся и вышел выполнять поручение.

Когда он ушёл, в голове возникла новая мысль — неожиданная и, пожалуй, не столь благородная, как могло поначалу показаться. Я решил, что дать ей поесть будет разумным решением. На кухне собрал несколько продуктов: хлеб, суп, консервы и немного сыра. С каждым шагом по лагерному двору я глубже погружался в размышления.

Тяжёлый воздух лагеря в тот день не казался таким удушающим. Во мне поселилось странное, почти светлое чувство — будто я совершал нечто великодушное. Точно подбираешь на улице жалкого щенка и чувствуешь себя его спасителем, хотя на самом деле делаешь это не столько ради него, сколько ради себя, чтобы потом лелеять в душе эту сладкую иллюзию собственного милосердия и благородства.

Вернувшись из столовой, я застал её в комнате уже за работой. Она склонилась над полом, вода тряпкой по деревянным доскам, и мне сразу показалось, что делала она это неловко, неумело. Другие женщины, что убирались у меня, двигались привычно, почти машинально, с какой-то крестьянской сноровкой. В её движениях не было этой укоренившейся ловкости, и почему-то это мне нравилось. Я заметил, как её фигура чуть покачивалась, а в руках читалась лёгкая дрожь, возможно, от голода. Я знал, что первые дни здесь особенно тяжелы для заключённых. Это было самое благодатное время, чтобы сломать волю любого.

Я резко захлопнул дверь, и она вздрогнула, повернув голову в мою сторону. Но на её лице не было удивления, словно она уже знала, что войду именно я. И этот взгляд, мгновенно опущенный в пол, заставил меня насторожиться. Если она не удивилась, значит, я уже привлёк к себе слишком много её внимания. А этого я не хотел. Мой интерес должен был оставаться скрытым, неочевидным — иначе всё теряло смысл. В тот момент я почти жаждал, чтобы она испытывала передо мной чистый, немой страх. Это было бы проще... проще наладить этот странный контакт. Потому что как делать это иначе — я уже забыл. Да, пожалуй, и не сумел бы.

Я прошёлся сапогами по влажному полу, оставляя чёткие, тёмные следы, и грубо опустился в кресло, закинув ногу на ногу. Взгляд мой был прикован к ней. Она ни разу не подняла глаз, и я намеренно не брал в руки газету, не отворачивался — пусть чувствует это молчаливое наблюдение, пусть каждым нервом ощущает моё присутствие.

Она несколько раз убирала непослушные пряди волос за ухо и продолжала водить тряпкой по этому никому не нужному полу. Я заметил, как удивительно очерчены её скулы — такие резкие, будто за ними скрывалась не шея, а сплошная тень. Если бы рядом был кто-то ещё, я бы не удержался от замечания: «Вы только посмотрите, разве бывают такие скулы?» Подбородок у неё был небольшой, а губы казались непропорционально низко посаженными. Ресницы — тёмные, но не слишком густые. «Вот так унтерменш», — подумал я с внутренней, язвительной усмешкой.

Она, конечно, была очень молода. Намного младше меня. И в какой-то момент, глядя, как её тонкие пальцы сжимают грязную тряпку, я с неожиданной остротой ощутил собственное несовершенство на её фоне.

Девушка приблизилась к порогу, завершила работу и также, не поднимая глаз, отчётливо произнесла на беглом немецком:

— Я закончила, герр офицер. Разрешите идти?

Я замер, ошеломлённый.

— Откуда ты знаешь немецкий? — спросил я, поднимаясь. — Ты была обязана заявить об этом при прибытии в лагерь!

Я смерил её взглядом, оценивая новое положение вещей. Эта неожиданность, конечно же, многое упрощала, но делала ситуацию опасной. Если бы её способности стали известны администрации лагеря, её немедленно отправили бы на переводческую работу: опрос вновь прибывших, допросы, работа с документами. Такие люди здесь ценились и быстро исчезали из общего потока. Я не понимал, как такое могли упустить при регистрации. Может, она была среди тех, кого пригнали без документов, прямо из-под бомбёжки. Или, что было правдоподобнее, она сознательно скрыла этот факт, понимая, к чему приведёт разглашение. Но раз она сказала сейчас, возможно, действительно не знала правил. Мысль о том, что она сразу же наивно доверилась именно мне, я отнёс сразу.

Сейчас я решил не углубляться в причины. Зато сам факт её знания языка менял всё. Она переставала быть неммым объектом, живой картиной, которую можно было только разглядывать в тишине. Теперь в её глазах была способность отвечать. Теперь она могла говорить. А значит, между нами мог возникнуть диалог, и это было бесконечно притягательно.

— Садись, ешь, — сказал я уже мягче, отводя взгляд к столу, где разложил принесённое: хлеб, открытую банку тушёнки с выступающими кусками мяса, миску с густым, ещё дымящимся супом.

Я делал всё с подчёркнутым безразличием, чтобы она не заподозрила в этом какую-то исключительность по отношению к себе. Девушка стояла у порога, застыв в нерешительности. Я видел, как её взгляд скользнул по столу и остановился на еде, в нём вспыхнуло то самое узнаваемое чувство, которое охватывало каждого новоприбывшего через несколько дней в лагере. Потом это притуплялось, уступая место апатии, но сейчас оно было ещё острым, почти живот-

ным. Это читалось в бегающем взгляде, в лёгком, произвольном движении горла. Голод стирает гордость куда быстрее, чем страх или унижение.

Она сделала робкий шаг вперёд, затем сразу отпрянула, словно обожглась. «Я не голодна», — выдохнула она, и голос её сорвался на хрип.

Я коротко усмехнулся исподлобья, наблюдая за этой картиной.

— Ты голодна. Садись, — повторил я, указывая взглядом на стул.

Она медленно, с недоверием подошла к столу. Её пальцы сжались, а взгляд метался между мной и едой.

— А что... что я должна буду за это? — прошептала она, и в её дрожащем голосе читалось недоверие или, скорее, недоумение.

Из моего рта вырвался короткий, сухой смешок, в котором, по правде говоря, не было ни капли веселья. — Ты разговариваешь со старшим офицером вермахта и директором завода, — отчеканил я, глядя на неё поверх стола. — А ты — всего лишь заключённая лагеря. Если бы я хотел с тобой переспать, твоё согласие мне было бы не нужно... Я тебя не трону.

Она всё ещё не двигалась, вросшая в пол у порога. Сомнение застыло в каждом уголке её истощённого тела.

Я откинулся на спинку кресла, оценивая её неподвижную фигуру.

— Поешь, — повторил я. — И я распоряжусь, чтобы твои подруги тоже получили паёк. Та, что постарше... с тёмными волосами. Кажется, она в положении.

Уголки моих губ дёрнулись в гримасе, которую можно было счесть улыбкой. За время работы и фронта я научился видеть таких женщин с первого взгляда. В моменты страха их руки произвольно тянулись к животу, словно пытаясь прикрыть, защитить то, что должно было оставаться невидимым. Они знали последствия. Каждая из них знала.

Беременность в лагере была смертным приговором. В лучшем случае — газовая камера сразу. В худшем — роды прямо в бараке, в грязи и крови, после которых ребёнка забирали на глазах у матери. Новорождённых не регистрировали. Их либо сжигали в печах крематория, порой ещё живыми, либо выбрасывали за проволоку, где грудями лежали те, кого не успели превратить в пепел.

Она посмотрела на меня, мне показалось, что она не испугалась, лишь её лицо стало бесконечно грустным, она прикусила губу. — Вы расскажете об этом? — тихо спросила она.

Я холодно посмотрел на неё.

— Это зависит только от тебя.

Девушка опустила на стул и с жадностью, почти забыв о моём присутствии, принялась за еду. Я отвернулся к окну и закурил, стараясь не смущать её своим взглядом лишним раз.

Ложка тихо звякнула о дно, и в комнате воцарилась полная тишина. Я поднял голову. Миска стояла пустая, аккуратно отодвинутая к краю стола.

— Спасибо, — донёсся до меня её шёпот. Потом спина выпрямилась, и в голосе прозвучала твёрдость, которой я не ожидал: — Я вымою посуду.

Я только отрицательно мотнул головой, ладонью показывая, что это не требуется.

— Как тебя зовут?

Я всё-таки решил спросить, чтобы хоть как-то вернуть этой сцене видимость человеческого общения. Мне стало немного неловко за этот грязный шантаж. Нормальные люди сначала узнают имя, а уж потом начинают ломать человеку с этим именем жизнь. Я же пошёл от противного.

— Ирина, — ответила она, в её голосе прозвучала странная, сдержанная гордость.

— А фамилия? — спросил я и мысленно продолжил: «Русские — удивительные люди. У нас, когда спрашивают, говорят фамилию, ведь важны семья, род, история. А они — Иван, Фёдор... словно одно только имя уже что-то значит».

— Ирина Нестерова, — прозвучало уже твёрже.

— Хорошо.

Представляться сам я не стал — она и не спрашивала. Как бы это выглядело: только что козырял званием, а теперь вдруг протягиваю руку для знакомства.

— Никому не говори, что ты знаешь немецкий, — сказал я, не отрывая от неё взгляда. — Я сам решу, что с этим делать.

Она двойным кивком куда-то в сторону стены подтвердила, что поняла. Я помолчал. Держать её дольше уже не имело смысла.

— Можешь идти.

Я кивнул подбородком в сторону двери. Она встала.

— Подожди. Возьми хлеб и тушёнку. — Взглядом указал на оставшуюся еду. — Не показывай старосте. Сразу отберут. И начнут выяснять, где взяла.

Девушка молча, почти незаметно, спрятала еду под робу и направилась к выходу. Рука уже лежала на дверной ручке, когда я не удержался:

— Я что, настолько ужасен, что со мной можно только за еду?

Я произнёс это с усмешкой, но она обернулась — и взглянула с такой тоской, что улыбка мгновенно сошла с моего лица. Я ощутил себя глупцом, поняв: партия проиграна, а моё мнимое превосходство не принесло ожидаемого торжества. Не проронив ни слова, заключённая вышла, тихо притворив за собой дверь.

Оставшись один, я снова и снова повторял её имя вслух. «И-ри-на». Мне никак не удалось схватить ту самую, чуть раскатистую «р», что звучала в её устах, — я слышал такую прежде только у русских. Настоящее, живое имя.

Она знала немецкий — и явно учила его, значит, прошла военную кафедру. Следовательно, с самого поступления в институт уже числилась на службе. Формально она была не гражданской, а военнослужащей. Да ещё и говорящей по-немецки!

Я провёл ладонями по лицу, вдавив пальцы в виски, и сделал глубокий вдох. По всем правилам мне следовало доложить об этом Гаудеру. Но я уже знал, что не доложу. Что-то внутри накрепко закрылось при этой мысли.

— И правильно, Гаудер сам виноват, — пробормотал я себе под нос. — Надо внимательнее проводить селекцию. Я не для этого её отобрал.

А для чего?

Потому что рядом с ней я вдруг почувствовал, что ещё жив, — и пусть это длилось лишь мгновение, мне захотелось снова и снова ощущать эти давно похороненные во мне эмоции, которых я сам уже не ждал. Я даже не предполагал, что способен на это, что смогу хотя бы на миг забыть о счёте своих жертв и вдруг вспомнить, каким я был когда-то.

Я тряхнул головой, отгоняя мысли. В конце концов, меня уже не изменить, и ничего уже не изменить, но это минутное ощущение, которое я испытал рядом с ней, стоило того, чтобы рискнуть. Я же ничего такого не сделал. Просто позволил себе почувствовать — ненадолго, всего на миг. Кто осудит меня за это?

Всё, хватит. Пойду спать. А утром будет видно.

Спалось мне плохо. Я перебирал в голове наш краткий разговор, её образ, её движения. Всё это казалось мне очень странным. Было тяжело отделаться от мысли, что она русская, что всё, что произошло, всё-таки не походило на обычное увлечение.

Хорошо, что никто не знал. Что никому не надо объяснять. Что не надо устанавливать границы. Ведь устанавливая границы, мы мешаем безграничности мышления. А в своих мыслях я был в эту ночь абсолютно свободен. Как хорошо быть свободным!

Весь следующий день, с самого утра, я пребывал в возбужденном состоянии. Мысли были заняты одним — предстоящим вечером. В голове непроизвольно возникали образы, которые я не мог и не хотел отпустить.

Я вспоминал её лицо — тонкие черты, тёмные волосы, которые крупными волнами ниспадали на плечи. Они будто пытались скрыть её бледную кожу, но в итоге лишь подчёркивали хрупкость.

Вечером после ухода с завода я зашёл на кухню, взял картофель со свининой, сыр и кофе. Расставил всё на столе в комнате и, не в силах скрыть нетерпение, вышел во двор.

— Дёниц! — крикнул я, и в голосе услышал какую-то предательскую хрипоту. — Позови ту... вчерашнюю. Пусть приберётся в ванной.

Но на посту стоял другой часовой! Пришлось объяснять, кого именно привести. В этот момент ко мне подошёл дежурный из комендатуры.

— Господин оберст-лейтенант, вас срочно вызывает комендант. Совещание уже началось.

Меня охватило раздражение. Я так увяз в своих мыслях о встрече, что совершенно забыл о вечернем совещании у Гаудера. Закончив работу, Ирина просто уйдёт в барак — кто станет её задерживать? А я останусь в своей комнате один на один с остывающим ужином.

Пропустить совещание было равносильно самоубийству. Я вошёл в кабинет с опозданием. Гаудер прервал свой монотонный доклад и устремил на меня тяжёлый взгляд. Он не сказал ни слова, лишь продолжил говорить с удвоенной громкостью.

Совещание оказалось невыносимым. Комендант с плохо скрываемым пафосом расписывал успехи где-то там, на фронтах, тыкая указкой в карту, но постоянно возвращался к одной мысли: исход войны теперь зависит исключительно от производительности нашего завода. От меня.

А я сидел будто на раскалённых углях, едва сохраняя маску равнодушия. Мысль о том, что я не отдал распоряжение задержать её, грызла меня изнутри. С каждой минутой вероятность того, что она уже закончила и ушла, становилась всё неотвратимее. Время текло, растягиваясь в мучительную, бесконечную пытку. Каждое слово Гаудера отдавалось в висках тупым гулом, и я ловил себя на том, что в такт ему отсчитываю секунды до конца его «выступления».

Когда совещание наконец завершилось, я почти выбежал из кабинета. Резко открыв дверь в свою комнату, я увидел её стоящей на пороге с ведром в руках. Не думая, я упёрся ладонью в косяк, преградив ей выход.

— Я разве разрешал уходить? — прозвучало довольно резко.

Она опустила взгляд, в глазах девушки мелькнуло смятение.

— Если ещё раз придёшь, а меня не будет, — продолжил я, успокаивая дыхание после пробежки, — будешь ждать, пока я не вернусь и не разрешу уйти.

Слова вышли грубыми, почти жестокими, хотя я лишь пытался скрыть своё волнение.

Ирина замерла, не проронив ни слова. Я стоял так близко, что различал тонкий запах пыли в её волосах, видел лёгкие веснушки у переносицы и влажный блеск её глаз. Взгляд скользнул по тёмным ресницам, дрожащим уголкам губ — и во мне что-то перевернулось. Голова закружилась, будто земля ушла из-под ног. Я сам не заметил, как наклонился к ней почти вплотную — наши лица разделяли какие-то сантиметры, — и именно тогда я услышал:

— Вы обещали, что не тронете.

Её голос был тихим, но твёрдым, заставив меня отпрянуть.

— Даже не прикоснулся, — произнёс я с досадой.

Беспомощно опустив руку, я кивнул в сторону стола:

— Садись. Поужинаем.

Весь этот долгий день я провёл в суете и действительно ничего не ел. Но сейчас речь шла не просто о еде, я хотел ужинать вместе с ней и только с ней.

Ирина села напротив, опустив глаза. Но в сдержанной позе, в осторожной игре склонённой головы и поворота плеча я чувствовал — она наблюдала. Её внимание было почти ося-

заемо: тихий, скользящий взгляд, искавший не то ответа, не то подвоха в моих движениях и жестах.

Мы молча приступили к еде. Я старался не смотреть на неё, но с каждой секундой чувствовал, как это даётся мне всё тяжелее. Тишина была мучительной.

Мне отчаянно хотелось — прямо сейчас, сию секунду — сорвать с себя эту маску старшего офицера и посмотреть на неё просто как человек. Как могут смотреть люди, которых тянет друг к другу. Но как это сделать? Как отключить в себе всё, что годами вживалось в кожу?

Я привык, что мундир делал мою жизнь проще. Любое слово, сказанное мной, могло прозвучать как приказ, стоило лишь захотеть. Любое желание можно было облечь в форму распорядка. А сейчас... Сейчас мне нужно было что-то сказать, кем-то быть без этой помощи. Остаться один на один с чем-то внутренним, не подкреплённым внешними знаками превосходства.

— Зачем вы меня кормите? — внезапно спросила она первой.

Я слегка отвернулся, не в силах смотреть ей в глаза и отвечать на этот вопрос.

— Просто не хочу, чтобы ты умерла, — ответил я спокойно, но с глубоким вздохом.

— Здесь каждый день умирают сотни, — её голос наполнился горечью.

— Я не распоряжаюсь их жизнями, — тихо сказал я. — Я военный, оказавшийся не на своём месте.

— А на войне вы не убивали? — в её тоне зазвучал едкий сарказм.

— Убивал, — коротко признал я.

Она сжалась, словно сама испугалась собственной дерзости — того, что заговорила со мной таким тоном.

— Мой брат погиб на фронте, — прошептала она уже мягче, но боль в её голосе была осязаемой, — а я оказалась в этом аду.

Я попытался сохранить спокойствие:

— Если он погиб, это не значит, что я его убил. — Он был солдатом, с оружием в руках, — продолжил я. — Его гибель не была неожиданностью.

— Он защищал свою семью и Родину, — с вызовом ответила она. — А что делали вы?

— Наверное, мой ответ тебя удивит, — медленно проговорил я, — но я делал то же самое.

— Вы можете больше не звать меня к себе? — тихо сказала она. — Ваши полы уже блестят.

— Почему? — спросил я, и в голосе, к собственному удивлению, прозвучала уже не злость, а досада.

Я ведь искренне хотел ей помочь. Ничего не требовал взамен, разве нет? Неужели она не понимала, что без меня ей просто не выжить? Почему же она так упрямо отталкивала мою руку?

— Потому что идёт война. Я — русская, а вы — немец. Вы, кажется, забыли об этом. Вы ведь присягу давали? Как это выглядит?

— Вы, кажется, тоже присягу давали, — холодно бросил я в ответ. — Но, попав сюда, предпочли об этом умолчать. Наверное, побоялись, что вас за это расстреляют. И теперь с таким достоинством носите вёдра и едите картофельные очистки. Где же ваше великое русское достоинство?

— Я лучше буду есть эти очистки, чем пить ваш кофе и сидеть за одним столом с тем, кто способен выбросить живого ребёнка за ограду!

Её голос сорвался, стал пронзительным и слишком громким для моей комнаты, почти истеричным. Это уже было чересчур.

— Я никого не выбрасывал! — резко парировал я.

Она хотела продолжить и уже набрала в лёгкие воздуха, но я грубо оборвал:

— Хватит! — крикнул я, отшвырнув с раздражением газету, лежавшую на столе.

Воцарилась тяжёлая тишина. Её глаза забегали по комнате, и я понял, что напугал её. Понимал и другое: продолжать этот разговор в таком ключе я больше не мог.

— Можешь идти, — сказал я уже ровнее, без прежней резкости.

Она вышла так быстро, что это было почти бегство. Дверь тихо прикрылась, а я остался сидеть один.

«Ничего не получается. Ровным счётом ничего», — подумал я и отвёл взгляд в окно, где уже ничего нельзя было разглядеть.

Утро началось с поступления новых инструкций по изготовлению снарядов. Половину дня я провёл, склонившись над документами, вникая в химические формулы и чертежи. Бумаги покрывали весь стол, образуя хаотичный веер из технических терминов и цифр. Новые взрывчатые вещества, усовершенствованные боеприпасы — всё это требовало предельной концентрации.

К концу дня, когда мозг, отяжелевший от бумаг и цифр, наотрез отказался воспринимать что-либо новое, на меня накатило тяжёлое, гнетущее чувство одиночества.

Я откинулся на спинку стула, позволив глазам следить за медленным, пыльным лучом заходящего солнца, ползущим по стене. Мне отчаянно хотелось выговориться. Излить хоть кому-нибудь всё, что происходило со мной: это странное, неконтролируемое притяжение и, главное, неразрешимое препятствие, не позволявшее просто быть рядом с этой девушкой, когда этого хочется.

Но Деницу я не мог бы открыться. Слишком многое стояло на кону. Вдруг он не поймёт? Вдруг я увижу на его лице не соперничество, а недоумение — или, что ещё невыносимее, тень того самого холодного, молчаливого презрения, которое хуже любого осуждения вслух? С ним нас связывала общая память о войне, которую не стёрли лагерные будни, но эта связь имела границы, которых я до конца не знал. Если бы он отшатнулся, если бы в его глазах мелькнуло хотя бы мимолётное отвращение, я лишился бы последнего человека, рядом с которым мог позволить себе хотя бы видимость нормального разговора.

А с другими офицерами и вовсе нельзя было обмолвиться ни словом. Там не существовало ни недопонимания, ни презрения — там действовал безжалостный, раз и навсегда установленный закон. Любое проявление слабости, любая тень личного интереса к «унтерменшу» становилась приговором.

Тут дверь лаборатории бесшумно отворилась, и в проёме возникла знакомая сгорбленная фигура в потрёпанной робе. Старый еврей Коэн вошёл, его движения были медленными, но не усталыми, будто каждое действие он просто просчитывал заранее.

Несмотря на старое, измождённое лицо, глаза его оставались молодыми — зоркими, пронзительными, наполненными ясным интеллектуальным светом. Было удивительно, как в этом месте он сумел сохранить остроту ума. Хотя его положение и отличалось от положения остальных заключённых, жизнь Коэна также была пропитана страданием. Я знал, что когда-то старик потерял в лагере всю свою семью — жену и дочь.

Вопреки дряхлому виду, он был единственным, кому я мог довериться, зная — какие бы личные трагедии его ни раздирали, химическое производство он не предаст никогда. Удивительно, но для старика это было важнее всего. Когда работники бросали в снаряды песок, он один не выпустил бы брак на фронт, даже если бы пришлось до последнего прикрывать виновных.

Старик разбирался в химии глубже многих. Учился и работал когда-то в Германии, и этот опыт позволял ему видеть то, на что у меня не хватало ни времени, ни, признаться, знаний. В Коэне чувствовалась уверенность — он знал, что без него производство просто рухнет. И это было моим спасением: ему не нужно было отдавать приказы. Еврей сам вёл журнал, сам делал пробы, сам иногда напоминал мне, словно тихим голосом: «Господин оберст-лейтенант,

отчёты по третьему цеху не поданы» или «Проверку реагентов давно не проводили». Этот человек работал, будто это была не повинность, а последнее дело его жизни.

— Что с вами, герр Рихтер? — его голос прозвучал тихо, с подчёркнутой отстранённостью, будто это его вовсе не касалось. Притворство было плохим — я знал, как он любил эти наши беседы.

— Ничего, Коэн, — выдавил я, пытаюсь придать голосу твёрдость. — Просто устал.

Старик медленно кивнул, его взгляд казался пронизательным.

— Понимаю, — произнёс он кряхтя. — В этом мире устают все.

Он всегда говорил именно так — оставляя за словами пространство для размышлений, словно намеренно недоговаривая, чтобы у слушателя была работа для ума.

Старик взял со стола планшет с колбами и журнал, покряхтел и уже сделал шаг к выходу, словно ничего и не происходило.

— Коэн! — я окликнул его, когда он был уже почти у двери. — Я хотел кое-что спросить... — голос мой прозвучал сдавленно, будто в горле пересохло.

Он остановился и медленно повернулся. В его взгляде появился живой, почти хищный интерес — он уже предвкушал тот самый неожиданный разговор, ради которого и стоило задержаться.

— Представьте, — начал я, тщательно подбирая выражения, — у вас появился интерес к одной девушке...

Старик мягко прервал меня, и в его глазах мелькнула искорка добродушной иронии.

— Боюсь, я настолько давно не испытывал подобных чувств, что вряд ли смогу быть полезным советчиком в таких делах.

Я нахмурился, чувствуя, как тепло разливается по шее.

— Я не говорил «чувств». Я сказал — «интерес».

— Разве это не одно и то же? — старик склонил голову, но тут же, поймав моё выражение лица, вежливо добавил: — Впрочем, простите, герр Рихтер, я вас перебил. Пожалуйста, продолжайте.

— Так вот, — продолжил я, чувствуя, как слова даются с трудом, — она... испытывает к вам отвращение.

Старый еврей внимательно посмотрел на меня.

— А есть ли у неё на то причины? — спросил он тихо.

— По правде говоря... есть, — признался я, опустив голову. Пальцы непроизвольно сжались. — Видите ли, дело в режиме... то есть в системе... — я запнулся, не в силах подобрать нужные слова.

Старик прищурился, и в уголках его глаз собрались лучики морщин.

— А вы сами, — произнёс он медленно, — как относитесь к этой системе?

— Разумеется, я полностью поддерживаю её, — сказал я тихо, прищурился глазами.

Старик задумчиво провёл рукой по небритому подбородку, его глаза сузились.

— Видите ли, господин директор, — произнёс он, и в его голосе зазвучала хитрая нота, — отсутствие мгновенной реакции между двумя реагентами вовсе не означает, что они не будут взаимодействовать. Порой для этого нужно время. А порой... достаточно лишь сменить температуру.

Я закурил, хотя на заводе это и запрещалось, чувствуя лёгкое раздражение.

— Я знал, старик, что ты не дашь мне практического совета. Хотя я ждал именно его.

Коэн рассмеялся — сухим, но незлобивым смехом.

— В вашем обществе и так хватает практичности, герр Рихтер. — Он сделал паузу, изучая моё лицо. — Позвольте узнать: кто же из надзирательниц посмела отказать такому мужчине, как вы?

— Она не надзирательница, — твёрдо ответил я, выдерживая его взгляд.

Казалось, старик понял всё ещё до того, как я произнёс эти слова. Он лишь кивнул — медленно, многозначительно — и вышел, оставив меня наедине с клубящимся табачным дымом и тяжёлыми мыслями.

На следующий день, в обеденный перерыв, я подстерёг Ирину там же, у резервуара. Она сидела на корточках, сосредоточенно поглощая ту серую бурду, что у заключённых считалась супом.

Я присел на скамейку напротив, в нескольких шагах от неё, и прислонился спиной к прохладной кирпичной кладке. Стена была шершавой, холод просачивался сквозь мундир, но это было даже... приятно. Я достал сигарету, чиркнул зажигалкой, втянул дым. Девушка бросила на меня быстрый, исподлобный взгляд и тут же снова уткнулась в миску.

— Может, всё-таки что-нибудь расскажешь о себе? — сказал я. И сам удивился тому, как это прозвучало: не приказ, не просьба даже, а так... любопытство. Неожиданное для неё. Да и для меня, честно говоря, тоже.

Ложка в её руке замерла на секунду. Застыла на полпути ко рту. Она будто прислушивалась к чему-то внутри себя — решала, отвечать или промолчать.

— Зачем вам это? — голос был глухим, безжизненным.

— Ты уже устроила мне скандал, — усмехнулся я, — а я до сих пор не знаю о тебе ничего. Получается, мы пошли каким-то странным путём. С конца.

Ирина промолчала. Снова принялась за еду — медленно, с каким-то отрешённым усердием, будто это было единственное, что ещё имело смысл.

— Сколько тебе лет? — не отступал я.

— Девятнадцать, — ответила она, разжёвывая жёсткую картофельную кожуру. Я видел, как двигались её челюсти — экономно, без лишних движений.

Я, конечно, и так понимал, что она гораздо моложе меня. Но когда она назвала свой возраст, меня буквально передёрнуло. В тот миг я вдруг осознал себя стариком — измотанным войной, побывавшим в супружестве, совершившим столько, что уже всего и не припомнить. Она появилась на свет, когда я уже успел узнать, что значит сжать кулаки в первой драке.

В нормальной жизни она бы на такого зрелого мужчину и не посмотрела. Прошла бы мимо, даже не задержав взгляда. А здесь... здесь всё перевёрнуто. Здесь власть меняет правила.

Я решил назвать свой возраст. Пусть знает. Пусть между нами не останется хотя бы этой недомолвки.

— А мне тридцать четыре.

Ирина не подняла головы. Только плечи чуть напряглись — незаметно, если не приглядываться.

— Вы выглядите моложе, — пробормотала она в миску.

Я не успел ничего ответить — она помедлила и добавила язвительно:

— Немного... Вас, наверное, в Германии жена с детьми ждёт, пока вы тут службу несёте.

— Меня никто не ждёт, — сказал я. И услышал свой голос со стороны — твёрдый, уверенный, без единой дрожи. В этих словах нельзя было усомниться.

Тишину нарушал лишь приглушённый звук её еды. Ложка царапала дно миски — скупое, будто она боялась упустить каждую каплю.

— А ты замужем? — спросил я.

Она, не отрываясь от похлёбки, молча и безразлично покачала головой. Даже плечом не повела. Просто качнула головой — влево, вправо, и всё.

Повисла пауза. Я докурил сигарету, бросил окурочок на землю и придавил носком сапога.

— Что вы будете делать, когда война закончится? — вдруг спросила Ирина, также не поднимая на меня глаз.

Я усмехнулся — коротко, беззвучно.

— Думаю, болтаться на виселице, — ответил я с невозмутимым спокойствием, и на моём лице застыла кривая улыбка.

Она подняла на меня удивлённые глаза.

Я поднялся и отряхнул мундир.

— Ладно, мне пора. Как видите, фрау переводчик, собеседник из меня неважный.

Сделав шаг к ней, я быстрым движением сунул ей в карман завёрнутый в бумагу бутерброд.

— Надеюсь, это оставит обо мне более приятное впечатление.

Я направился к заводу. На душе стало странно светло.

Стоял тот неопределённый период конца сентября, когда лето уже окончательно отступило, но осень ещё не вступила в свои полные права. Природа пребывала в состоянии тревожного затишья — золотая пора только начиналась, но в воздухе уже витало предчувствие грядущих холодов.

Земля представляла собой пёструю мозаику: редкая зеленеющая трава, почти выеденная заключёнными, кое-где перемежалась с первыми жёлтыми листьями, лужи после недавних дождей отражали хмурое небо. Воздух был прохладным, свежим, но в нём ещё не было той пронизывающей сырости, что приходит позже.

Дни становились короче, но светило ещё достаточно яркое солнце, хоть и потерявшее летний зной. Его лучи отбрасывали длинные, чёткие тени, которые ложились на бараки и вышки, достигая забора с колючей проволокой. В воздухе витало ощущение переходного периода — природа замерла в ожидании настоящей осени.

Эта погодная неопределённость странным образом резонировала с абсурдной реальностью лагеря — местом, где были извращены все мыслимые человеческие законы. Здесь жизнь текла не от детства к старости, а зависела от сводок с фронта, распоряжений из Берлина или просто от минутного настроения коменданта. Сегодня могли отправить в газовую сотню «политических» — просто потому, что пришла такая директива. А завтра — выдать двойную порцию баланды, чтобы поддержать «рабочий дух». Обречённые не знали, что принесёт им следующий час. Если честно, мы, офицеры, уже тоже этого не знали.

Моя работа на заводе между тем наладилась, вошла, так сказать, в отлаженную колею. Я не просто освоился — я овладел её скрытой механикой. Мозг, обученный выстраивать химические формулы, теперь выстраивал цепочки производственных процессов, предвосхищал узкие места, оптимизировал маршруты перемещения сырья. Я научился читать как живую, хотя и уродливую, картину происходящего. Планы выполнялись, из Берлина шли одобрительные депеши. Меня хвалили.

Но с момента, как в лагере появилась Ирина, мне пришлось признаться себе: проявлять жестокость по отношению к рабочим стало как-то сложнее. Я внутренне корил себя за это, считая эти чувства едва ли не предательством той самой твёрдости, которую годами в себе воспитывал. Но теперь, совершая каждый поступок, я всё чаще ловил себя на мысли: а что бы на это сказала она? Я не искал её одобрения — напротив, я злился на себя за эту незваную судью, поселившуюся у меня в голове. И всё же вопрос возникал снова и снова, помимо моей воли.

Внутри меня разгоралась борьба. С одной стороны — годы убеждений, железная вера в правоту системы, в неизбежность порядка, которому я служил и который требовал от меня быть безжалостным. С другой — новые, непривычные мысли, которые эта женщина каким-то непостижимым образом сумела во мне пробудить. Мои прежние убеждения сопротивлялись яростно, отчаянно, как загнанный зверь, а моя привычка не считать человеческую жизнь цен-

ностью — если эта жизнь не принадлежала немцу — не желала сдаваться без боя. Я был солдатом, офицером, и слабость в таком деле не прощают. Особенно самому себе.

Порой это противоречие раздирало меня изнутри до такой степени, что я проявлял жестокость вовсе не потому, что этого требовала служба или дисциплина. Я делал это назло самому себе, чтобы доказать: эта девушка не властна надо мной, она всего лишь наваждение. Я хотел верить, что держу всё под контролем, что она не задела меня по-настоящему, что это лишь игра плоти и праздного любопытства.

Но надо было признаться себе и в другом: это увлечение с каждым днём всё меньше походило на то, чем я пытался его себе представить. Оно превращалось во влечение, но не только физическое. В нём проступало нечто иное, почти запретное для такого, как я: тоска по живому слову, по кому-то, кто мог бы выслушать и не осудить, кто указал бы путь, когда дорога окончательно распалась на две и невозможно понять, какая из них ведёт к спасению, а какая — в пропасть.

Возвращаясь к успехам завода, я не мог не признать: они были подобны жалкому фейерверку, который на миг освещает крошечный пятючок земли, тогда как вся Европа уже погружалась во тьму. Сводки с фронта становились всё мрачнее — русские уже стояли в Прибалтике. Я был слишком хорошо образован, чтобы верить в победные репортажи, которые Гаудер зачитывал нам на построениях и совещаниях. Война катилась к концу, и этот конец пах не лавровыми венками.

Вечером я зашёл к коменданту, чтобы обсудить вопросы логистики.

«Как можно разгружать составы за полтора километра от завода?» — мысленно репетировал я вопрос. «Неужели нельзя протянуть ветку до самого приёмного пункта? Это же элементарная логистика!»

Но Гаудера я не застал. В кабинете, восседая в кресле начальника, находился его заместитель — Герц. Я не любил его даже больше, чем самого коменданта. Тощий, с вытянутым лицом, он всегда казался слегка влажным, будто только что вышел из сырого подвала. От него несло едва уловимым, но стойким запахом тухлых яиц. И у него была отвратительная привычка подходить слишком близко, разглядывая лицо собеседника, словно изучая интересный экспонат.

Увидев меня, он поднялся и двинулся навстречу, его губы растянулись в идиотской улыбке.

— А, Герхард! — его голос прозвучал слащаво. — Давно не виделись!

— Я к Гаудеру, — резко прервал я этот опереточный выход Герца, не скрывая раздражения. Я осмотрелся: заместитель был в кабинете один, на столе лежала разобранная пистолетная обойма — видимо, коротал время за бессмысленной чисткой.

Герц странно огляделся, словно собираясь поведать государственную тайну, и действительно наклонился ко мне, распространяя запах сероводорода и переваренного кофе.

— К господину коменданту прибыла супруга, — прошептал он, и его глаз дёрнулся в подобии подмигивания.

По этим гротескным телодвижениям стало ясно — Гаудер будет занят до самого утра. Однако, выйдя из комендатуры на промёрзший плац, я неожиданно столкнулся с ним и его женой у второго корпуса. Они стояли у облупленных перил, и Гаудер, заметив меня, сделал небрежный приглашающий жест рукой в перчатке.

Я подошёл, сняв фуражку. Лёгкий ветер потрепал мои волосы, и я пригладил их.

— Герр Рихтер, позвольте представить — фрау Гаудер.

— Рад знакомству, — отчеканил я, щёлкнув каблуками по утоптанной земле и склонив голову.

Женщина повернулась, и дорогое шерстяное пальто распахнулось, открывая элегантное платье с геометрическим узором — я давно не видел хорошо одетых женщин.

— О, что вы! Называйте меня просто Эмма. Я много слышала о ваших успехах, герр Рихтер. Говорят, вы буквально возродили завод из пепла. — Её голос был слишком громким для этой обстановки.

— Тогда зовите меня Герхард, — ответил я с лёгкой насмешкой, отмечая про себя неестественную яркость её губной помады.

Эмма Гаудер оказалась внешне довольно интересной женщиной. Под модной шляпкой-таблеткой скрывалась короткая стрижка с идеально уложенными волнами — парижская мода в самом сердце Гинке выглядела вызывающе абсурдно. Её лицо с округлыми щеками и маленьким пухлым ртом казалось почти кукольным, но при ближайшем рассмотрении угадывалась тонкая сеть морщинок у глаз. Фрау Гаудер можно было бы назвать миловидной, если бы не её глаза — тёмные, почти чёрные, которые беспокойно метались от моего лица к баракам, к небу, к чему угодно, только не задерживались надолго на чём-то одном.

За войну я видел разное помешательство: после кровавых боёв, а особенно после рукопашных, психика не у всех выдерживала, и это было явно, наглядно. Но с ней всё было иначе. Сложно сказать, была ли она сумасшедшей в обычном смысле. Внешне нет. Но я уловил в ней мгновенный сбой: будто она на секунду выпадала из реальности, уходила в какой-то иной мир. И в такие моменты я, как, наверное, любой, кто с ней говорил, чувствовал себя не в своей тарелке — невольным свидетелем чего-то глубоко личного и чуждого.

Я слышал о ней многое, даже больше, чем о самом коменданте. В лагерной канцелярии шёпотом передавали, что она получала особое, почти сладострастное удовольствие, присутствуя при наказаниях. Шли слухи о её садистских наклонностях, о том, что при назначении Гаудера разразился скандал именно из-за неё. Говорили, его карьера висела на волоске, но дело каким-то образом замяли, а Эмму услали подальше обратно в рейх.

Я никогда не интересовался этими сплетнями, но сейчас, глядя на это почти детское лицо с тщательно подведёнными глазами, мне всё же было трудно представить её истязавшей кого-то.

Гаудер внезапно прервал наше общение, поправляя перчатки:

— Герхард, заходите сегодня к нам на ужин. Думаю, нам будет о чём поговорить в более... приятной обстановке. — Он сделал паузу, многозначительно глядя на жену, чья тень падала на серую стену барака. — К тому же, Герхард из Берлина.

— Что вы говорите! — Фрау Гаудер хлопнула в ладоши, как ребёнок, но в её восторге была какая-то неестественная напряжённость, а глаза на мгновение застыли неподвижно. — Я так редко встречаю здесь земляков!

Она сделала шаг ко мне, касаясь моего рукава длинными пальцами, от этого движения повеяло запахом дорогих духов с ноткой увядающих цветов.

— Мы будем ждать вас, Герхард.

Я склонил голову в знак согласия, чувствуя, как этот простой жест даётся мне с неожиданным трудом. Попрошавшись с этой странной парой, я ещё какое-то время стоял, глядя им вслед, пока они не скрылись за углом корпуса.

Я принял душ, струи горячей воды безуспешно пытались смыть внутреннее напряжение. Сменив рубашку, я поймал себя на том, что застёгиваю пуговицы с непривычной тщательностью. Время до восьми тянулось невыносимо медленно. Я курил у окна, наблюдая, как сумерки окрашивают лагерь в свинцовые тона, и мысленно возвращался к сегодняшней встрече у резервуара с Ириной.

Вспоминал каждую деталь: как солнечный свет играл в её волосах, точную интонацию её голоса, когда она сказала «девятнадцать», как её пальцы сжимали край миски. Возникло навязчивое, почти физическое желание увидеть её снова — сегодня же. Может, после ужина вызвать её из барака под каким-нибудь предлогом?

Сердце неожиданно заколотилось, заставив с силой провести рукой по волосам. Я отбросил сигарету и, посмотрев на часы, с внезапным облегчением понял — пора идти...

У Гаудеров стол представлял собой вызывающий контраст с окружающей Гинке действительностью. На полированной поверхности теснились серебряные блюда с ветчиной и сыром, хрустальные графины с французскими и немецкими винами, окорока в желе и фрукты — всё это выглядело сценографией из другого мира. Тяжёлый аромат еды смешивался со сладковатым флёром духов Эммы и едким дымом сигар, которые курил Гаудер.

Эмма, в платье из парижского шёлка с жемчужной нитью на шее, казалась ещё более неестественной в этой обстановке.

— Итак, Герхард, — начала она, играя вилкой, — из какого же района Берлина вы родом? Я обожала бывать на Курфюрстендамм по выходным... Те прекрасные витрины Wertheim...

— Мои родители жили в Шёнеберге, а я с семьёй занимал квартиру недалеко от Музейного острова, — ответил я, чувствуя, как взгляд Гаудера изучающе скользит по моему лицу.

Комендант, наполняя бокалы рислингом, вставил:

— Ваш отец, если не ошибаюсь, был кадровым офицером? Прекрасная прусская выправка чувствуется и в вас.

— Военная карьера никогда не прельщала меня, — заметил я, вращая бокал. — Если бы не повороты судьбы... В юности я проводил лето в баварской глуши, у бабушки. Её старые учебники по химии открыли мне куда более увлекательный мир, чем строевая подготовка.

— Химия! — Эмма прикоснулась пальцами к виску. — В школе я терпеть не могла формулы. Такие скучные эти ваши CO_2 и H_2O ! Куда романтичнее литература... Вы читали нового Веспера?

— К сожалению, современная литература проходит мимо меня, — вежливо парировал я. — Технические мануалы оставляют мало времени для художественного чтения.

Эмма внезапно оживилась:

— Герхард, вы должны провести мне экскурсию по заводу! Мне так интересно, как создаётся это чудо немецкой инженерии — от химической формулы, от чертежа до готового снаряда!

Гаудер положил руку на её плечо:

— Дорогая, не стоит отнимать время герра Рихтера своими дилетантскими вопросами.

— Напротив, — возразил я, — я с удовольствием покажу производство. Правда, должен предупредить — цеха не самое подходящее место для вечернего платья. Запах тротила вьедается в ткани намертво.

Вдруг лицо Эммы изменилось, взгляд стал отсутствующим.

— А у вас там... — она сделала паузу, — только мужчины работают или... женщины тоже? — голос её стал ниже, в нём появились неприятные металлические нотки.

Гаудер резко откашлялся, его стул скрипнул.

— У нас работают все, кто способен выполнять задачи, — ровно ответил я. — И мужчины, и женщины. Всё зависит от конкретной операции.

Эмма начала ритмично постукивать вилкой по фарфоровой тарелке, затем внезапно закашлялась — сухими, надрывными спазмами. Я инстинктивно приподнялся, чтобы помочь, но Гаудер резким жестом остановил меня, его лицо выражало раздражение.

Через мгновение маска снова вернулась на место. Эмма натянуто улыбнулась, её голова склонилась набок.

— Ну что, договорились? — произнесла она с неестественной лёгкостью.

— В двенадцать, — подтвердил я.

— Благодарю вас, Герхард.

Остаток вечера прошёл в ритуализированной беседе. Мы с Гаудером пили бренди и курили сигары, в то время как Эмма исполняла на трофейном французском рояле бравурные мелодии, её пальцы порой с неестественной силой вдавливали клавиши.

Когда я наконец вышел в ночную прохладу, то почувствовал, как с плеч спадает тяжёлое бремя этой душной, насыщенной невысказанными намёками атмосферы. Я с наслаждением глубоко вдохнул свежий воздух.

К бараку идти было уже поздно, да и, честно говоря, я не уверен, что хватило бы духу. Мысли путались: почему эта Эмма оставила меня равнодушным? Всего несколько лет назад я бы непременно заинтересовался такой ухоженной, образованной женщиной из своего круга. Но этот странный припадок за столом... эти метания между неестественной оживлённостью и остекленевшим взглядом. Нет, с ней определён что-то не так. Чокнутая, что уж там.

Я вернулся в свою комнату и с неожиданным облегчением увидел, что сегодня на посту у моей двери дежурит Дёниц. В шкафу была припрятана половина бутылки приличного коньяка.

Быстро переодевшись в поношенный мундир, я вынес на улицу два бокала и бутылку. Присев на каменный порог, я жестом подозвал Дёница. Тот огляделся по сторонам, убедился, что вокруг никого нет, и присел рядом, приняв из моих рук наполненный бокал.

— Как ужин у аристократов? Лобстеров отведали? — Дёниц щурился, растягивая губы в насмешливом оскале. Его лицо в лунном свете казалось резким.

Я сделал глоток коньяка, чувствуя, как обжигающая влага растекается по жилам.

— Нет, — проворчал я, глядя в темноту лагеря. — Отведал сотню наигранных эмоций, запил бренди, а теперь закусываю коньяком. Но всё равно маловато — хочу сегодня уснуть как убитый. Завтра веду госпожу Гаудер на экскурсию по заводу.

Дёниц фыркнул, и его смех прозвучал резко и сухо в ночной тишине:

— Не завидую, Герхард. Она, кстати, заключённых на дух не переносит, особенно женщин. Говорят, когда она ещё здесь жила, одной заключённой живот распорол прямо на плацу. Даже охранников тошнило. Ага, тошнило красной капустой, в тот день как раз на завтрак была красная капуста.

— Ты веришь в эти сказки, Дёниц? — я повернулся к нему, разглядывая его смуглое лицо.

— Я? Нет. Думаю, враки. Про жену коменданта из Дахау тоже рассказывали, будто она абажуры из человеческой кожи делала.

— Хватит об этом... есть слухи, от которых достойный человек должен себя ограждать, — я отпил ещё коньяка. — У нас тут поля человеческим пеплом удобряют. Что особенного, даже если это правда?

— Особенно то, что мадам — это мадам, которая ходит в манто и разговаривает на французском. В голове не укладывается...

— Ладно, хватит. Дёниц, у меня дело есть. — Я сделал паузу. — Надо найти телогрейку. Дёниц взглянул на меня из-под фуражки.

— Найдём... — он сказал это с деловой уверенностью, потирая ладонь о колено. — А кому вдруг? — спохватился он, и его брови поползли вверх.

— Не важно, — я отвёл взгляд, чувствуя, что всё ещё не готов ему рассказывать то, что происходило со мной в последние дни.

Он почесал затылок, и его пальцы замерли в волосах:

— Хоть размер-то какой?

— Женский.

— Ну, женский так женский, — безразлично кивнул Дёниц.

— Не стой тут, иди спать, нечего меня сторожить, — я мотнул головой в сторону казармы.

— Не-ет, — он покачал головой, и тень скользнула по его лицу, — Гаудер мне начистит...

— Не начистит, — перебил я, жестом указывая на тёмные окна комендатуры. — Он уже давно спит. Иди.

Я часа два не мог заснуть, позволив себе задуматься о том, что поступал неправильно. Безусловно, я отдавал себе отчёт в собственной жестокости. Но скажите: кто на этой войне вёл себя иначе? Кто?

Русские, поверьте, тоже не были святыми. Никто не радовался, оказавшись в советском плену. Возможно, они были... более убеждёнными, что ли? Хотя это не совсем точное слово. Скорее упрямыми.

Вы скажете — моё сознание было промыто пропагандой Геббельса. Не стану спорить. Но задайтесь вопросом: остаётся ли на войне место для самоанализа, когда ты, охваченный единым порывом, покоряешь страну за страной, город за городом? Когда патриотический угар и вера в собственное величие наполняют тебя с ног до головы? Легко быть человеком, когда мир человечен. Испытание — остаться им, когда мир сошёл с ума. А когда тебе день за днём твердят, что ты — исключительный, часть исключительной нации? Любой поверит. И я верил. Не во всё, конечно. Но в то, что оправдывало мои поступки — или, вернее, их результативность, — да, верил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.